

РОМАНТИЧЕСКОЕ ФЭНТЕЗИ

Развод с драконом

— • —
Долг очага, который не отдают

Александр Витальев

Александр Витальев

**Развод с драконом. Долг
очага, который не отдают**

«Автор»

2026

Витальев А.

Развод с драконом. Долг очага, который не отдадут /
А. Витальев — «Автор», 2026

Элиса Вейл осталась в замке бывшего мужа по собственной крови и собственному решению, но совет, казначей и новая невеста из дома Айрвен не собираются отдавать ей ни имя, ни место. По замку ползёт новая волна проклятия: гаснут кухни, которые она только что оживила, и голоса стёртых жён звучат громче, чем прежде, потому что род не заплатил положенную цену. Теперь Элисе придётся вернуть в каменную книгу не только своё имя, но и имена тех женщин, которых род вычеркнул до неё, а Рейнару — впервые заплатить за любовь публично, чужими руками и своей кровью, а не приказом. А между ними — узкая щель почти-прикосновения, которое длится одно дыхание, и право выбрать форму брака, которое ещё никто не заслужил.

Содержание

Глава 1. Утро после алтаря	5
Глава 2. Отметка у ключницы	11
Глава 3. Счета и чернила	17
Глава 4. Бельевой шкаф	25
Глава 5. Чернила на его пальцах	31
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Александр Витальев

Развод с драконом. Долг очага, который не отдают

Глава 1. Утро после алтаря

Ящик стоял на чужом столе. Я это поняла раньше, чем открыла глаза, — по запаху сухой полыни и по скрипу дерева, которого я три года не слышала. Потом открыла и увидела, что доски стола не мои: тёмные, новые, с медными кольцами на углах, а мой старый стол был светлый, с выщербиной у левой ножки, куда Кейлан однажды загнал деревянного солдата. На чужом столе лежал мой ящик. Мой. Кто-то его сюда принёс, пока я спала.

Я села, и колени хрустнули так, словно я провела ночь не в постели, а на каменном полу. Пальто на мне — дорожное, мокрое по подолу — было брошено поверх одеяла. Его я не снимала. Условие я себе поставила у чужого костра, и условие ещё держалось: я не снимаю обувь в этом доме, пока мне не скажут «Элиса, оставайся». Пока не сказали. Я спала в сапогах, и подошвы у меня горели, и в правом плече ныло ровно там, где у него, и я не знала, от меня это или от него, и думать об этом сейчас было рано.

За дверью кто-то стоял. Я слышала, как переступают с ноги на ногу, и слышала, как скрипнула доска, когда человек набрал воздуха в грудь, чтобы постучать. Я встала, одёрнула пальто и открыла сама.

Ключница. Марта. Ей было под шестьдесят, и у неё были такие руки, какие бывают у людей, привыкших держать чужие ключи. Она посмотрела на мои сапоги. Потом подняла взгляд.

— Госпожа, — сказала она, и голос у неё был ровный, как у человека, который давно привык докладывать плохое.

— Я не госпожа, Марта.

— Госпожа, — повторила она, и в этот раз чуть тише. — Совет постановил. Пока лорд не подпишет ваше новое место в родовой книге, вы допущены к очагу как работница. Каждое утро вы обязаны расписаться в моей тетради. Время — от восхода до третьей свечи. Если не распишетесь, казначей спишет на вашу долю расходы кухни за сутки.

Она протянула мне тетрадь. Обычная, в кожаном переплёте, с медной пряжкой. Я взяла её, и кожа была тёплая, словно её только что держали в руках, и от неё пахло тем же сухим деревом, что и от чужого стола. Я раскрыла. На первой странице стояли имена кухарок, прачек, конюхов, и против каждого — время прихода и ухода, мелким канцелярским почерком. На второй странице — пусто. И сверху, через весь лист, было выведено: «Элиса Вейл, работница очага, время — не определено».

Я закрыла тетрадь. Пальцы у меня не дрожали, и это было, пожалуй, хуже всего.

— Кто писал? — спросила я.

— Годрик, — сказала Марта. — Старейшина.

— Он не имеет права писать моё имя в чужой тетради.

— Не имеет, — согласилась она. — Но он написал.

Я положила тетрадь обратно ей в руки. Она не удивилась. Она ждала. Я видела, как у неё побелели костяшки на переплёте, и видела, что она не уйдёт, пока я либо не подпишу, либо не откажусь, и оба варианта будут стоять мне чего-то, что я ещё не умела считать. В правом плече стрельнуло так, что я на секунду перестала дышать. Это была его боль, я знала, как узнаю

собственный почерк на чужом документе: дом связал нас раньше, чем род успел нас рассорить, и эта связь не спрашивала разрешения.

— Дай мне перо, — сказала я.

Марта достала из кармана фартука огрызок карандаша, не перо. Я посмотрела на карандаш, потом на неё.

— Чернил нет, — сказала она. — Для работниц не положено.

Я взяла карандаш, раскрыла тетрадь на второй странице, под строкой «время — не определено», и написала: «Элиса Вейл. Пришла. Узнаю своё имя из чужих уст, и мне за это платят строкой в чужой тетради». Подпись. Карандаш был тупой, и буквы выходили бледные, но я писала медленно, чтобы каждая легла, и Марта не торопила, и за окном кто-то уже колот дрова, и стук был ровный, и я поняла, что это Кейлан, потому что он всегда колет дрова одним и тем же ритмом, ровно четыре удара, пауза, ещё четыре, и я стояла и слушала, и карандаш у меня в руке стал теплее, чем был.

Я отдала тетрадь. Марта взяла её, посмотрела на мою запись, и у неё дёрнулась щека, и я поняла, что она прочитала, и что она не вычеркнет, и что завтра Годрик увидит, и что это будет стоить мне ещё одной строки, и ещё одной, и ещё, пока тетрадь не лопнет по шву, и тогда, может быть, кто-нибудь наконец спросит, зачем.

— Стол мой, — сказала я, кивнув на ящик. — Кто его сюда переставил?

— Слуги, — сказала Марта. — Мы решили, что так будет правильно.

Она повернулась и пошла по коридору, и я слышала, как под её ногами тёплый камень, и тёплый он был ровно до того поворота, где она остановилась, и там камень кончился, и начался холод.

Я осталась одна в комнате для прислуги, и ящик стоял на столе, и камень под ногами был холодный уже по обе стороны от меня.

Я открыла крышку. Внутри всё лежало так, как я оставила три года назад: моток сухого корня лопуха, завёрнутый в провощённую тряпицу, две жестяные коробочки с мазями, флакон с настойкой полыни на винном уксусе, и на самом дне — плоский камешек с дыркой, который Кейлан нашёл у ручья, когда ему было пять, и я хранила его как талисман, хотя никому об этом не говорила. Я провела пальцем по камешку. Он был тёплый, хотя стоял в жестяной коробке под слоем сухих листьев, и я знала, что это значит, и закрыла крышку, чтобы не думать об этом сейчас.

В коридоре пахло хлебом. Это было важно. В замке, который я оставила, хлеб пёкся через день, и в воздухе висел густой кислый дух, от которого по утрам болела голова. Сейчас пахло ржаной корочкой и чуть-чуть тмином, и это означало, что пекарня работает, и что кто-то встал в четыре, и что у кого-то хватило ума не слушать Годрика, когда тот велел экономить на зерне. Я затянула тесьму на фартуке и пошла на запах.

На кухне стоял Седа. Она месила тесто, и руки у неё были по локоть в муке, и лицо покраснелось, и она пела что-то деревенское, тихо, не разбирая слов, и я остановилась в дверях на секунду, потому что эта песня была из той деревни, где я её нашла, и я подумала, что дом мог бы и не напоминать мне об этом именно сегодня, но он напомнил, и я переступила порог.

— Госпожа, — сказала Седа, не оборачиваясь.

— Седа, — сказала я. — Я не госпожа.

Она обернулась. Мука на её щеках лежала белыми полосами, и под ними кожа была тёмная от жара, и она смотрела на меня так, как будто я сказала что-то смешное.

— Госпожа, — повторила она. — Я знаю.

Я подошла к столу и посмотрела на тесто. Оно было слишком крутое, и вода была холодная, и я положила ладонь на край миски, и миска была тёплая, хотя стояла на каменном столе у окна, где солнце ещё не дошло.

— Где Мира? — спросила я.

— У ключницы, — сказала Седа. — У ребёнка опять. Ночью кашлял.

Я кивнула. Ребёнок ключницы был болен с прошлой недели, и я вчера оставила отвар, и отвар был не самый сильный из того, что я могла дать, потому что под рукой не было свежего корня, и сухой лопух я берегла. Я подумала о том, что сухой лопух всё ещё лежит в ящике в комнате для прислуги, и что его надо нести через весь коридор мимо Годрикова крыла, и что Марта увидит, и запишет, и что это будет ещё одна строка, и я решила, что понесу.

— Тесто, — сказала я. — Воду тёплую бери. Не холодную. И муку не всю сразу, а по горсти.

— Мира так и делает, — сказала Седа тихо, и в голосе у неё была обида, и я поняла, что обида была не на меня, а на то, что я не сказала этого раньше.

— Я знаю, — сказала я. — Я говорю на всякий случай.

Она кивнула и взяла ковш, и пошла к котлу, и котёл у нас был старый, чугунный, с отбитой ручкой, и он не давал чистой воды уже месяц, и я подошла ближе, и заглянула внутрь, и вода была мутная, с рыжей плёнкой по краям, и я подумала, что это потому, что вчера его мыли холодной, и что завтра я вымою его сама, и что это тоже будет строка в чужой тетради. Я взяла тряпку, обмакнула её в остатках тёплой воды со дна, и протёрла край, и тряпка стала рыжей, и я бросила её в ведро, и вытерла руки о фартук.

— Я сейчас к Марте, — сказала я. — И к ребёнку. Если Рейнар спросит — я в лечебнице.

— Рейнар не спросит, — сказала Седа, не оборачиваясь.

— Я знаю, — сказала я. — Поэтому говорю.

Я вышла в коридор, и камень под ногами был тёплый ровно до поворота, и дальше холодный, и я шла, и в кармане у меня лежала запасная пуговица, и я вспомнила, что обещала себе пришить её к куртке Кейлана, и что сегодня не пришью, и что это тоже будет строка, и я перестала считать строки, потому что если их считать, то можно не дойти.

У двери лечебницы стоял Бранн. Он не сказал ни слова, и я не сказала ни слова, и он посторонился ровно настолько, чтобы я прошла, и я прошла, и моё плечо задело его рукав, и я почувствовала, как под рукавом напряглась рука, и ничего не сказала.

Внутри пахло сухим шалфеем и чуть-чуть кровью. Ребёнок спал на низкой кровати, и ключница сидела рядом, и под глазами у неё были тени, и она подняла голову, и посмотрела на меня, и ничего не сказала, и я тоже ничего не сказала, и я подошла к кровати, и положила ладонь на лоб ребёнка, и лоб был горячий, и я выпрямилась, и сказала тихо:

— Лопух я принесу через час. Сейчас давай тёплое питьё, каждые полчаса, по глотку.

Ключница кивнула. Я пошла за лопухом.

У лопуха я задержалась дольше, чем хотела. Корень был старый, земля с него сыпалась тёмная, и я обрезала боковые волокна ножом, не глядя, и руки помнили эту работу, и я впервые за утро выдохнула. В сушилке было тепло, и пучки трав висели так, как я их вешала три года назад, — никто не переставил, и я знала, что никто не посмел, и от этого знания в горле стало тесно.

Шаги я услышала раньше, чем дверь открылась. Тяжёлые, с той маленькой задержкой на верхней ступени, которую он себе позволял, когда не хотел, чтобы его слышали, но не умел не слышаться. Я не обернулась. Под ножом корень разделился на две неровные половинки, и я положила их на чистую тряпицу, и промокнула, и только тогда сказала, не поднимая головы:

— Лопух я несусь ключнице, не тебе.

Он не ответил сразу. Я почувствовала, как он остановился у порога, и воздух за его спиной сгустился, и в сушилке сразу стало холоднее, и я знала, что это не дом остыл, это я перестала дышать ровно.

— Я не за лопухом, — сказал он.

Я всё-таки подняла голову. Он стоял в дверном проёме, и свет из коридора лежал у него на одном плече, и тень от гобелена перечеркнула ему грудь, и он был одет не как лорд, а как

человек, который шёл по лестнице, не думая, кто его увидит. Без цепи, без перстня на большом пальце. Сорочка расстёгнута на одну пуговицу у ворота, и я увидела, как качнулся шрам от ожога, старый, розовый, и я отвела глаза, потому что этот шрам я перевязывала, и он заживал под моими руками, и мы оба это помнили, и оба делали вид, что нет.

— В лечебнице ребёнок с лихорадкой, — сказала я. — Если ты пришёл с приказом, оставь его на столе. Я прочту после.

— Я не с приказом.

Он шагнул внутрь. Один шаг. Сушилка сразу стала меньше, и я почувствовала запах дождя с его плаща, и дыма, и чуть-чуть — железа, и я стиснула тряпицу с корнем, и ткань под моими пальцами стала мокрой, и я положила её на стол, и вытерла руки о фартук, и это заняло у меня больше времени, чем нужно, и он ждал, и не торопил, и я впервые за долгое время не знала, что сказать первой.

— Тогда зачем, — спросила я, и голос у меня был ровный, и я гордилась этим ровно секунду.

Он смотрел на мои руки, на красные пятна от земли на пальцах, на порез, который я получила сегодня утром и заклеила краем полотна, и я видела, как он этот порез заметил, и как его скула напряглась, и как он не спросил.

— Седа сказала, ты не ела.

— Седа много говорит.

— Седа мало спит, — сказал он, и в голосе у него проскочило что-то, чего я не слышала три года, что-то не лординое, и я не сразу поняла, что это усталость. — Она сказала, ты ушла до рассвета, и вернулась с ключницей, и до сих пор не присела.

Я села. Не потому что он попросил, а потому что ноги у меня действительно гудели, и потому что табурет стоял ровно за мной, и я знала, что он это заметил, и я не хотела, чтобы он заметил, что я заметила, и это был такой клубок, что проще было сесть.

Он не сел. Стоял у стола, на котором лежал лопух, и смотрел на корень так, будто это был документ, который он не умеет прочесть. Потом поднял голову, и посмотрел на меня, и я увидела, что у него тени под глазами точно такие же, как у ключницы, и что он не спал, и что он не скажет почему, и что я не спрошу, и что оба мы будем делать вид, что это ничего не значит.

— Я пришёл не как лорд, — сказал он.

Я ждала.

— Я пришёл, — он замолчал, и пауза была длинная, и я слышала, как за стеной капает вода с крыши, и как потрескивает дерево в сушилке, и как бьётся его сердце, хотя нет, это моё билось, и я не могла отличить одно от другого, и от этого стало зябко. — Я пришёл спросить, ела ли ты.

Я засмеялась. Коротко, сухо, и звук улетел под потолок, и вернулся, и мне не понравилось, как он вернулся.

— Ты дошёл до сушилки, — сказала я, — чтобы спросить, ела ли я.

— Да.

— Через весь замок. Мимо лечебницы, где спит ребёнок. Мимо кухни, где Седа режет хлеб. Мимо своей столовой, где накрыт завтрак.

— Да.

— И ты стоишь здесь, и у тебя расстёгнута сорочка, и ты пахнешь дождём, и ты ждал, пока я повернусь, и ты не вошёл, пока я не сказала, что прочту приказ после. И ты пришёл спросить, ела ли я.

Он не кивнул. Он смотрел на меня, и я видела, как он сдерживает приказной тон, и как этот тон просится наружу, и как он давит его обратно, и я видела, чего ему это стоит, и мне стало не зло, а страшно, и я не хотела этого страха, и от нежеланья руки у меня похолодели.

— Элиса, — сказал он.

— Что.

— У тебя руки ледяные.

— Я только что резала корень в холодной воде.

— Нет, — сказал он, и голос у него был тихий, и я услышала в этом тихом, как он хочет сказать что-то другое, и не говорит, и я не спрашиваю, и оба мы знаем, что я знаю, и оба мы делаем вид, что не знаю. — Ты дрожишь.

Я посмотрела на свои руки. Они не дрожали. Я подняла их, и они дрожали, и я увидела, как он это увидел, и как у него на скуле заиграла желвак, и как он шагнул ко мне, и я встала, и табурет скрипнул по полу, и мы оказались друг от друга на расстоянии ладони, и я чувствовала тепло от его груди, и запах дождя, и железа, и я отступила, и он не двинулся за мной, и это было хуже, чем если бы двинулся.

— Ешь, — сказал он. — Потом иди к ребёнку. Потом к Марте. Потом — куда хочешь.

Он повернулся, и пошёл к двери, и на пороге остановился, и не обернулся, и я видела, как напряглась его спина, и как он не обернулся, и я знала, что если я сейчас скажу хоть слово, он останется, и я знала, что если он останется, я не смогу уйти, и я знала, что если я не смогу уйти, я снова начну считать чужие строки в чужой тетради, и я не стала говорить.

Он ушёл. Шаги его были тяжёлые, и на верхней ступени он задержался, и я стояла в сушилке одна, и руки у меня были ледяные, и я подняла тряпицу с лопухом, и пошла к ребёнку, и по дороге считала не строки, а его шаги, и сбилась на седьмой, и не стала начинать сначала.

Ребёнок спал. Я сидела рядом, слушала его дыхание и держала тряпицу с отваром у его лба, пока та не остыла. Потом отжала, снова смочила, снова положила. Лоб был сухой. Жар уходил медленно, но уходил, и я почувствовала это раньше, чем поняла, — по тому, как у меня самой перестала болеть поясница. Я выпрямилась, и в спине хрустнуло, и я вспомнила, что не ела.

На столе у стены стояла миска с кашей, накрытая другой миской. Хлеб рядом. Я не стала спрашивать, кто принёс. В этом доме никто не спрашивает, кто принёс.

Я ела стоя, глядя в окно. Дождь перестал. По двору шла Марта с ключами, и ключи тихо звякали, и я слышала этот звон через стекло, и в этом звоне мне послышалось моё имя. Не моё. Чужое. Я отвернулась.

Когда я вышла из детской, коридор был уже знакомый, и я не сбилась на повороте. Лечебница была в конце, за бельевой, за поворотом. Я знала это, не думая, как знают свою тень. Дверь была приоткрыта. Я толкнула её и вошла, и остановилась.

Мой ящик стоял на главном столе.

Не на полке. Не у стены. Посреди стола, на чистой клеёнке, которую я сама когда-то купила на рынке в Вейле, и кухарка тогда отдала за неё лишний медный пятак, и мы посмеялись, и я помнила этот пятак, и клеёнку помнила, и теперь ящик стоял на ней, как будто никуда не уезжал.

Кто-то — я знала кто — снял его с чужого стола в гостевых покоях, пока я сидела у ребёнка, пока Рейнар считал мои строки в чужой тетради, пока совет решал, где мне спать. Кто-то взял мой ящик, мой запах сухих трав, мои руки в этом ящике, и поставил туда, где ему полагалось стоять с самого начала. Не дожидаясь подписи лорда. Не спрашивая совета.

Я подошла и положила ладонь на крышку. Дерево было тёплым. Не от моих рук. Оно стояло так уже с час, и оно нагрелось от камина, который я ещё не разжигала, и от камня под ногами, который я не гладила, и я поняла, что это значит.

Дом меня узнал. Род — нет. Дом — да.

Я открыла ящик. Травы лежали по ячейкам, как я их уложила вчера. Лопух — справа, сверху. Мать-и-мачеха — слева, ниже. Кора — в мешочке, завязанном моим узлом. Никто не открывал. Никто не нюхал. Никто не решал, лежат ли они правильно. Они лежали правильно, и это было не случайностью, а ответом.

За дверью слышались шаги. Лёгкие, осторожные. Я не обернулась. Я достала корень, разломил, понюхала. Свежий. Я ссыпала половину в ступку и начала толочь, и пестик стучал ровно, и я считала удары, чтобы не думать.

Вошла Мира. Остановилась у порога. Я видела её отражение в медном тазу на столе — маленькая, в фартуке, руки сжаты.

— Я не знала, что вы здесь, — сказала она.

— Теперь знаешь.

Она помолчала. Потом подошла к полке, сняла банку с мёдом, поставила передо мной, не глядя.

— Кейлан приходил. Спрашивал, можно ли к вам.

Я перестала толочь.

— Когда?

— С полчаса. Я сказала, вы у ребёнка. Он подождал немного и ушёл. Сказал — после обеда.

Я кивнула и снова взялась за пестик. Мира не уходила. Она стояла рядом, и я чувствовала, как она хочет что-то сказать, и не говорит, и я знала это молчание, и в нём было всё то, что она не решалась произнести при Марте, при кухарке, при ключнице.

— Говори, — сказала я.

— Ящик поставила Марта. Сама. Бранн не приказывал.

Я опустила пестик. Посмотрела на ящик. На клеёнку под ним. На тёплое дерево.

— Сама, — повторила я.

— Сама, — подтвердила Мира. — И ещё она сняла ваше пальто с крючка в кабинете и повесила в прихожей лечебницы. На ваш крючок. Я видела.

Я не ответила. Я снова взялась за пестик и стала толочь, и руки у меня больше не дрожали.

Глава 2. Отметка у ключницы

Ключница уже сидела за столом, когда я спустилась. Она не подняла головы. Перо в её пальцах двигалось ровно, без скрипа, и я успела сосчитать её вдохи, пока шла через кухню, — три, и на четвёртом она всё-таки подвинула тетрадь к краю стола. Чуть-чуть. Ровно на толщину моего запястья.

— Доброе утро, — сказала я.

Она кивнула. Тетрадь лежала между нами, и я видела, как аккуратно выведены в ней чужие имена: кухарка, прачка, мальчик на конюшне, девочка в белье, ещё кто-то, кого я не знала. Каждая строка была ровной, как строчка в псалтири, и каждая строка заканчивалась точкой — кроме одной, где точка стояла слишком близко к следующему имени, и чернила чуть смазались. Ключница увидела, куда я смотрю, и прикрыла это место ладонью.

— Распишитесь здесь, — сказала она тихо. — Здесь, — её палец ткнул вниз страницы, где оставалась пустая строка, отделённая от прочих тонкой чертой. — Каждое утро. Пока лорд не подпишет.

Я села на табурет. Табурет был чужой, не мой; мой когда-то стоял у окна, и на его ножке была содрана краска там, где я вечно цепляла его подолом. Этот был гладкий, незнакомый, и я почувствовала, как каменный пол под босой ступнёй чуть холодеет, словно отодвигается.

— Каждое утро? — спросила я, хотя уже знала ответ.

— Пока лорд не подпишет, — повторила она, и в голосе у неё было что-то, чего она сама, кажется, не хотела показывать. Не сочувствие. Скорее усталость, привычная, как хромота.

Я взяла перо. Оно было тонкое, слишком тонкое для моей руки, и я на миг сжала его слишком крепко, чувствуя, как дерево чуть скрипнуло под пальцами. Потом расслабила хватку, макнула в чернила — и остановилась. Пустая строка смотрела на меня, и я вдруг поняла, что не знаю, что писать. Своё имя? Но в этой тетради имена стояли без фамилий, без отметин, и в каждой строке читалось одно и то же: «здесь живёт, здесь работает, здесь спит». Я не жила. Я не работала. Я гостя, которую заставили вернуться.

— Элиса, — написала я, и буква «с» вышла кривая, потому что перо царапнуло. Потом поставила точку. Посмотрела на строчку. Имя выглядело маленьким, потерянным среди чужих.

Ключница забрала перо, промокнула строчку, отодвинула тетрадь к себе. Я ждала, что она скажет что-нибудь — про вчерашний вечер, про совет, про то, как я вернулась из бельевой с таким лицом, что даже Торин отвёл глаза. Она не сказала. Только посмотрела на меня, и впервые за всё утро я заметила, что у неё тёмные круги под глазами, и что передник у неё завязан не как обычно, а наспех.

— Ребёнок спал, — сказала она вдруг. — Всю ночь. Спасибо.

Я кивнула. Она кивнула. Мы обе знали, что это «спасибо» стоит дороже, чем любая подпись в её тетради, и что одновременно оно ничего не меняет.

Я встала. Табурет чуть скрипнул по камню, и я увидела, как ключница на миг опустила взгляд, потом снова подняла — на мои босые ступни. Пол был холодный, и я это чувствовала, но виду не подавала. Она тоже.

— Лорд будет после полудня, — сказала она, не поднимая глаз от тетради. — С новыми счетами. Казначей привёз.

— Я знаю, — ответила я, хотя не знала.

— Он требует, чтобы вы расписались в получении.

— Я знаю, — повторила я, и голос у меня вышел ровнее, чем я ожидала. Она наконец посмотрела на меня прямо, и в этом взгляде было то, чего она ни за что бы не произнесла вслух:

«не давайте ему ставить вас в строку». Я кивнула. Чуть-чуть. Так, чтобы она могла сделать вид, что не заметила.

Я пошла к двери. На пороге обернулась: ключница уже убирала тетрадь в ящик, и ящик был не тот, в котором она хранила обычно. Он был глубже, и стоял ближе к стене, под её рукой, а не под рукой казначея. Маленькая ставка, не больше. Но я её увидела.

— Сегодня будет дождь, — сказала я просто.

— Будет, — ответила она, и я вышла, и каменный пол под моими ногами был холодный, и я шла по нему босиком, и на левом указательном пальце ещё держался розовый след от чернил, и я знала, что к вечеру он сойдёт. А к тому времени лорд принесёт новые счета, и я снова сяду за стол, и снова возьму перо, и снова напишу своё имя в чужой строке. И буду считать чужие имена, пока своих не останется.

Я спускалась по чёрной лестнице, считая ступени. Их было тридцать две, и на тридцатой я всегда спотыкалась, потому что камень там был чуть стёрт, и подъём ступени был ниже, чем у остальных. Я знала это три года назад, и ступень не изменилась. Это радовало больше, чем следовало.

В кухне было тепло. Не от печи — печь ещё не топили, — а от котла, который стоял на своём месте, на чугунной подставке, и от мокрых поленьев, сложенных у стены, и от запаха вчерашнего хлеба, который ещё держался. Поварёнок — тот самый, которому я вчера перевязывала руку — сидел на перевернутом ведре и строгал ножом морковь. Увидел меня, вырвал морковь, поднял, покраснел.

— Садитесь, госпожа, — сказал он, и «госпожа» у него вышло привычно, без запинки, как будто он так говорил каждый день. Может, и говорил. Может, здесь все так говорили, пока меня не было.

Я села на табурет у окна. Не на свой старый — тот давно сгорел, когда в кухне три зимы назад случился пожар от непогашенной свечи. На чужой, но устойчивый. Посмотрела на свои руки. Левая ладонь ещё помнила форму поварёнковой руки: тонкие запястья, содранная кожа на костяшках, грязь под ногтями, которую нельзя было отмыть даже щёлоком. Я вытерла ладонь о фартук. Потом посмотрела на окно.

За окном действительно собирался дождь. Небо было низкое, серое, с жёлтой полосой у горизонта, и ветер гнал по двору первые листья. Я знала, что к полудню размочит дорожки, и следы у чёрной лестницы исчезнут, и то, что Рейнар бросил в бочку вчера вечером — а я слышала, как он бросал, хотя делала вид, что сплю, — тоже исчезнет. Я знала это так же точно, как знала, что на тридцатой ступени споткнусь.

— Госпожа, — сказал поварёнок, и я повернулась. Он стоял передо мной с миской, в которой была вода, чистая, только что зачерпнутая. — Вот. Для рук. Я слышал, вы вчера ожог получили.

Я посмотрела на миску. Потом на него. Потом снова на миску.

— У меня нет ожога, — сказала я. — У тебя.

Он заморгал. Потом покраснел ещё гуще, и я поняла, что он не про ожог. Он про то, что я вчера перевязывала ему руку, и он не знал, как об этом сказать, и сказал про воду. Я взяла миску. Поблагодарила. Он ушёл строгать морковь, и я слышала, как нож стучит по доске — ровно, чуть быстрее, чем нужно, потому что он волновался.

Я подержала руки в воде. Вода была чуть тёплая, и от неё пахло деревом и дымом, и я подумала, что он, наверное, нагрел её на остывшей печи, и что это заняло у него время, и что он потратил это время на меня. Эта мысль была невыносима по-простому. Я вытерла руки о фартук, встала, подошла к котлу.

Котёл был пустой. Я положила руку на чугунный бок, и он был холодный, но не ледяной — где-то в глубине ещё держалось вчерашнее тепло, и я знала, что если сейчас разжечь, он возьмётся быстрее, чем обычно. Я знала это, потому что три года назад я топила этот котёл

каждое утро, и он привык к моим рукам, к моему дыханию, к моему молчанию. Он привык ко мне раньше, чем род. Это тоже было невыносимо, но по-другому.

Я открыла заслонку. Угля в топке было мало — ровно на одну растопку, не больше. Кто-то сэкономил. Или кто-то не хотел, чтобы я разожгла слишком большой огонь. Я подобрала лучину, чиркнула кремнём, подождала, пока первая искра станет угольком, и только тогда положила её на угли. Огонь взялся сразу, и я подбросила полено, и оно затрещало, и дым пошёл в трубу, и кухня начала наполняться тем особым теплом, которое не измеряется градусами.

— Госпожа, — сказали с порога.

Я обернулась. В дверях стояла Мира. У неё в руках был поднос, а на подносе — три глиняных горшка с мазями, и она держала его так, как будто несла не мази, а собственную голову.

— Лорд приказал, — сказала она, и голос у неё был тихий, и она не смотрела мне в глаза. — Чтобы вы посмотрели. У поварёнка ожог не тот, что был вчера. Поднялся снова. И ещё у двоих на кухне — у судомойки и у мальчика, который чистит котлы. Все с одного крыла.

Я взяла поднос. Поставила его на стол, не на свой старый — на чужой, ближний к двери. Потом подвинула свой табурет, села, открыла первый горшок. Мазь была та самая, которую я варила три года назад, и от неё пахло ромашкой и воском, и я знала этот запах, и руки мои помнили эту мазь, и я поняла, что меня проверяют.

Не Мира. Рейнар. Он хотел знать, возьму ли я мазь, которую варила сама, поставлю ли подпись, приму ли помощь рода, или откажусь, потому что гордость дороже ожога. Я посмотрела на Миру. Она наконец подняла глаза, и в них было то, что я видела у ключницы: «не давайте ему ставить вас в строку».

Я взяла мазь. Понюхала. Положила палец в горшок, чуть-чуть, на самом кончике, и растерла между пальцами. Мазь была хорошая, сваренная правильно, и я знала, кто её варил, потому что только я и Мира умели класть ромашку именно так — не сушить, а слегка подвяливать, чтобы запах не уходил.

— Где поварёнок? — спросила я.

Мира кивнула на дверь. Поварёнок уже стоял там, с морковкой в руке, и морковка была уже почти очищена, и я поняла, что он строгал её, чтобы занять руки, потому что ждал. Я встала, подошла к нему, взяла его руку, размотала вчерашнюю повязку. Ожог действительно поднялся. Кожа вокруг была красная, горячая, и я знала, что это значит: проклятие пошло по кухне, по тем самым рукам, которые я вчера оживила, и что если я сейчас отступлю, оно съест эту кухню за неделю.

Я взяла мазь. Нанесла. Перевязала чистой тряпкой, которую Мира уже держала наготове. Потом посмотрела на свои руки, на розовый след от чернил на указательном пальце, и подумала, что к вечеру сойдёт. А к вечеру лорд принесёт новые счета, и я снова возьму перо, и снова напишу своё имя в чужой строке. И буду перевязывать чужие руки, пока свои не перестанут болеть.

— Спасибо, — сказал поварёнок.

Я кивнула. Вернулась к столу, к трём горшкам с мазью, к судомойке и мальчику, которые уже ждали у двери. Мира подала мне чистые тряпки, и я разложила их на столе, и руки мои помнили эту работу, и я знала, что делаю. Я не знала только одного: примет ли Рейнар то, что я делаю, как мою помощь или как мой долг. От этого зависело, нагреет ли он воду для ожогов в следующий раз.

За окном начался дождь. Капли застучали по стеклу, и я подумала, что дорожки во дворе уже размывает.

Ключница ждала меня у чёрного хода. Не у парадного, где горели факелы и где совету было бы прилично меня видеть, — у чёрного, где камень под ногами ещё помнил мои босые

пятки и где дождь уже стучал по жестяному козырьку. Она стояла с книгой, прижатой к груди, и смотрела не на меня, а на свои руки, и я поняла, что она не хочет этого делать, но должна.

— Госпожа, — сказала она, и в голосе было столько всего, что я предпочла не расслышать.

Книга была обычная. Тетрадка в кожаном переплёте, с завязками, страницы в клетку, чернила уже подсохли на вчерашней строке. Я знала, чья это строка, — мальчика-конюшего, который третий день лежал с лихорадкой. Я сама его вчера перевязывала. Я взяла перо, которое она мне протянула, и оно было чужим, слишком тонким, с чужим зажимом, и пальцы мои поморщились, хотя я тут же спрятала это в рукав.

— Куда? — спросила я.

Она показала. Я расписалась. Элиса Вейл. Буква «Э» ушла вправо, потому что перо было не моё, и я подумала: «Вот. Теперь это в книге. Теперь это в замке. Теперь совет знает, что я здесь, и ключница знает, и кухарка знает, и даже камень под ногами знает, потому что чернила каплют на плиту, и плита их впитывает». Я поставила точку. Точка вышла жирная, как клякса.

— Спасибо, — сказала ключница, и книга исчезла у неё под фартуком так быстро, что я не успела разглядеть, что там было выше моей строки.

Я пошла на кухню. Ключ остался у меня в кармане, тот самый, от кладовой с сухими травами, и я сжала его сквозь ткань, чтобы почувствовать холод металла, чтобы не думать о точке, которая вышла жирная. Дождь припустил сильнее. Капли летели в лицо, и я подняла капюшон, и под капюшоном было тесно и мокро, и я подумала, что в прошлой жизни, в той, где меня ещё не вычеркнули, я бы шла этим же двором в распахнутом плаще и не замечала бы дождя, потому что Рейнар ждал бы меня в кабинете с горячим вином, и я бы вошла мокрая, и он бы нахмурился, и мы бы посмеялись, и я бы забыла считать строки.

Сейчас я считала строки.

Кухня встретила меня паром и голосами. Котёл уже стоял на огне, и вода в нём была чистая, и я знала, что это не Мира поставила — Мира бы не успела за полчаса. Это поставил дом. Я положила ладонь на чугунный бок, и он был горячий ровно настолько, чтобы не обжечь, и я подумала, что в этом и есть мой настоящий счёт: не строки в чужой тетради, а вот эта температура, которую помнит моя рука, а не его.

Поварёнок стоял у стола с перевязанной рукой, и повязка была чистая, и я поняла, что Мира уже сменила. Прачка принесла ещё одну поварёнку чистые тряпки, и я разложила их на столе, и три горшка с мазью уже стояли наготове, и я подумала, что всё это мог бы делать любой, кто умеет читать рецепты, но рецепты тут ни при чём, потому что мазь — это не рецепт, это рука, которая помнит, как мешать.

— Лорд приходил? — спросила я у Миры.

Она покачала головой. Глаза у неё были опухшие, и я поняла, что она не спала, и что она, наверное, слышала, как ключница выводила мою строку в чужой тетради. Я ничего не сказала. Взяла горшок, понюхала — ромашка, подвяленная, не сушёная, — и кивнула. Это было правильно. Это было единственное, что сегодня было правильно.

За окном мелькнула тень. Я обернулась. На дворе, у конюшни, стоял Рейнар. Без плаща, без свиты, в одной рубашке, и дождь бил ему в плечи, и он смотрел не на конюшню, а на окно кухни, и я поняла, что он смотрит на меня. Я замерла. Горшок в моей руке был тёплый, и руки мои помнили эту работу, и я не отвела взгляда, и он не отвёл, и между нами было мокрое стекло, и стекло, и дождь, и я не знаю, сколько это длилось. Секунду. Две. Дольше, чем нужно, чтобы отвернуться, и короче, чем нужно, чтобы подойти.

Он кивнул. Коротко, сухо, по-лордовски, и отвернулся, и пошёл к дому, и я смотрела, как вода стекает по его волосам, и не двинулась с места, и горшок в моей руке был тёплый, и точка в чужой тетради была жирная, и ключ в кармане был холодный, и я подумала, что в этом и есть мой настоящий счёт: не строки, не кивки, а вот это молчание, которое длиной в целый

день и которое не кончится, пока он не войдёт в эту дверь и не скажет мне: «Элиса, оставайся», — голосом, в котором не будет приказа.

Я поставила горшок на стол. Подошла к поварёнку. Размотала повязку. Ожог поднялся ещё на полпальца, и я знала, что это значит: проклятие идёт быстрее, чем я думала, и если я сегодня не успею сделать обход всех кухонь, оно съест эту к вечеру.

— Мира, — сказала я. — Зови остальных. Всех, у кого руки в ожогах. Сегодня я никого не пропущу.

Мира кивнула и вышла. Я осталась одна с поварёнком, с горшками, с ключом в кармане и с точкой в чужой тетради, и камень под ногами был тёплый, и я знала, что к вечеру лорд всё-таки придёт. Придёт, потому что проклятие не будет ждать, пока он научится просить.

К вечеру я успела сделать обход не всех. Успела три кухни, лечебницу, двор и прачечную. В прачечной ожог был у двух девочек, и я заставила их держать руки в холодной воде, пока сама резала корень и растирала в каменной миске, и руки у меня пахли мокрой тканью и горьким соком, и вкус во рту стоял медный, потому что я забыла поесть, и никто не напомнил, потому что никто не смел, и это было правильно, и это было больно, и это тоже было правильно.

Последней я шла в бельевую. Не потому что хотела, а потому что ноги сами понесли, и я знала, что иду проверить: не сдвинули ли рубашку. Не тронул ли её кто. Не догадался ли кто.

Бельевая была на первом этаже, в конце коридора, где камень всегда холоднее, потому что туда не доходит солнце. Дверь была прикрыта, но не заперта. Я толкнула её плечом и вошла, и сразу почувствовала, как камень под подошвами стал холоднее, и это значило, что рубашка всё ещё там, и что она всё ещё помнит чужую кровь, и что дом не разрешает мне к ней прикасаться, пока я не принесу с собой свою.

Я подошла к шкафу. Открыла дверцу. Рубашка лежала на месте, свёрнутая, белая, с пятном у ворота, которое при свечном свете казалось чёрным, а при дневном было бы бурым. Я не стала её трогать. Я достала из кармана свой ключ, положила его на полку рядом с рубашкой и долго смотрела, как холодный металл лежит на холодном дереве, и думала, что это первый раз, когда я оставляю в этом доме что-то своё добровольно, и что ключ мне не вернут, и что я его не заберу.

Потом я услышала шаги. Не лордские, не Бранновы, не Ториновы. Женские. Я обернулась.

В дверях стояла ключница. Маленькая, сухая, в тёмном платье, с той же самой тетрадью под мышкой, и тетрадь была закрыта, и руки её лежали на ней крест-накрест, и она смотрела на меня, и я смотрела на неё, и мы обе знали, зачем она пришла.

— Госпожа, — сказала она. И замолчала. И я ждала, и она ждала, и камень под ногами был холодный, и я знала, что сейчас она скажет “работница”, и я сожму зубы, и кивну, и пойду спать, и утром снова распишусь в чужой тетради, и точка будет жирная, и день будет длинный, и лорд не придёт.

— Элиса, — сказала ключница.

Я спустилась в кухню ещё до рассвета, по лестнице, мимо закрытых дверей, мимо окна, в котором стояла та же луна, что и ночью, только бледнее. Каменные плиты под босыми ногами были тёплые, и я перестала удивляться этому ещё вчера, а сегодня просто шла по ним, как по своим. В кухне уже горел огонь. Небольшой, ровный, без дыма, и кто-то — я знала кто, Мира, потому что больше некому — поставил рядом с плитой жестяной чайник и три сухих полотенца, и рядом с полотенцами лежала записка, написанная не её рукой, а чьей-то другой, торопливой и кривой. «Будет фурункул у скотины, мастер Гренн просил зайти к восьми». Я положила записку в карман и поняла, что день уже начался, и что он начался без меня, и что это нормально, потому что дом помнит больше, чем я думаю.

Котёл стоял на своём месте. Тяжёлый, чугунный, с отбитым краем, который я сама же отбила три года назад, когда чистила его неосторожной кочергой. Я положила ладонь на бок —

холодный, потом тёплый, потом горячий, потом ровно такой, каким должен быть, когда вода в нём готова вскипеть. Я не зажигала под ним огонь. Огонь уже горел. Кто-то разжёт его до меня, и кто-то налил в котёл воду, и кто-то знал, что я приду сюда раньше всех, потому что я всегда прихожу раньше всех, и это знание было в камне, а не в голове.

Я наклонилась к нему, и вода внутри была прозрачная, и дна было видно, и на дне лежала монета, медная, старая, с оттиском, который я не сразу узнала, а потом узнала: это была монета дома Чёрного Крыла, из тех, что клали в котёл при закладке кухни, чтобы дом запомнил женское имя. Я вытащила её, повертела в пальцах. Она была тёплая, и на ней было выбито «Э.», и «Э» было не моё, а чьё-то другое, и я знала, чьё, и убрала монету в карман, к записке про фурункул, и карман стал тяжёлым, и это было правильно.

— Госпожа, — сказали сзади.

Я обернулась. У двери стоял поварёнок, тот самый, которому я вчера перевязывала руку, и рука его была замотана чисто, и он смотрел на меня, и в руках у него была миска с нарезанным луком, и лук пах так, что у меня защипало в глазах.

— Госпожа, — повторил он, — ключница сказала, чтобы вы не ходили к скотнику сами. Сказала, чтобы взяли кого-нибудь с собой. — Он помолчал, и глаза у него были честные, и я поняла, что ключница не говорила ничего подобного. — Я пойду, — сказал он. — Если позволите.

Я смотрела на него. Мне было тридцать четыре года, и я стояла на кухне, где меня вычеркнули, и поварёнок с обожжённой рукой предлагал мне пойти со мной к скотине, и котёл у меня за спиной давал чистую воду, и монета в кармане была тёплая, и в дверях, за спиной поварёнка, мелькнул и пропал чёрный рукав, и я не обернулась, потому что мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто это был.

— Иди, — сказала я поварёнку. — Только лук сначала доложи.

Он кивнул и пошёл к столу, и миска в его руках не звякнула, и я слышала, как он дышит, ровно и спокойно, и это дыхание стоило больше, чем все слова, которые мне сегодня скажут, и я знала, что мне их скажут много, и не все они будут лёгкими, и лук в миске будет горьким, и фурункул у скотины будет гнойным, и где-то в замке совет уже собирается, и где-то в замке Инара Айрвен пьёт утренний отвар и улыбается, и где-то в замке Рейнар стоит у окна и не знает, что делать с руками.

Я вытерла ладонь о фартук, и фартук был мокрый, и ткань была тёплая, и я пошла к двери, и поварёнок пошёл за мной, и котёл за моей спиной дал чистый пар, и каменные плиты под ногами были тёплые, и в кармане у меня лежала чужая монета с моей буквой, и я знала, что сегодня вечером она ляжет на каменную книгу рядом с моей подписью, которую я ещё не поставила, но которую поставлю, и что после этого камень под ногами станет ещё теплее, и что после этого совета ждёт сюрприз, которого они не ждут.

Тише, чем печать сургуча. Тише, чем скрип пера. Тихо, как будто она пробовала это имя на вкус, прежде чем отдать. И я стояла, и у меня в горле стало тесно, и я не знала, что сказать, и руки мои пахли мокрой тканью и горьким соком, и я стояла, и камень под ногами стал теплеть, и я не сразу поняла, что это камень, а не я.

— Спасибо, — сказала я.

Она кивнула. Положила тетрадь на полку рядом с моим ключом, рядом с чужой рубашкой, рядом с засохшей кровью, которую я больше не прятала. И ушла. И шаги её были лёгкие, и дверь за ней закрылась тихо, и я осталась одна, и камень под ногами был тёплый, и я знала, что завтра утром в тетради появится ещё одна строка, и на этот раз рядом с точкой будет стоять моё имя, написанное её рукой, и совет с этим ничего не сможет сделать, потому что тетрадь уже не его.

Глава 3. Счета и чернила

Утро началось с того, что котёл вскипел раньше, чем я успела подбросить полено. Я только подняла крышку, а вода уже стояла белая, ровная, как отмеренная по линейке. Поварёнок Март оглянулся на меня через плечо, я оглянулась на плиту, и мы оба сделали вид, что так и должно быть. Потом я услышала шаги в коридоре — тяжёлые, ровные, с тем коротким сбоем на третьей ступени, который я узнала бы и в чужом доме.

Рейнар вошёл в кухню с папкой в руке. Не с той папкой, что носит казначей, — кожаная, чёрная, без герба, личная. Он положил её на край стола, не на середину, чтобы я могла видеть, но не дотянуться случайно, и это было так по-ренаровски, что у меня дёрнулось в уголке рта.

— Поздно ужинала, — сказала я, не поднимая головы от котла.

Он не ответил. Я услышала, как щёлкнула медная пряжка, как он вытащил лист, как положил его рядом с моей чашкой. Лист был тёплый, я почувствовала это кончиками пальцев, ещё не дотронувшись. Драконья кровь греет бумагу, когда человек злится, а Рейнар злился, иначе бы не пришёл ко мне в кухню до рассвета.

Я всё-таки посмотрела. Счёт. Новый. За три месяца, что меня не было в замке, расходы на кухне выросли вдвое, на лечебницу — втрое, и каждая строка была аккуратно подведена к одной итоговой цифре. Цифра была круглая, ровная, как по лекалу.

— Это не расходы, — сказала я. — Это сказка для совета.

— Это отчёт, — ответил он. — Мой управляющий считает, что прежнюю смету надо закрыть и открыть новую. На твоё имя.

Я опустила крышку котла. Медленно, потому что иначе стукнул бы чугун, а чугун тут всё ещё помнил мои руки, и мне не хотелось, чтобы он запомнил, как у меня трясутся пальцы.

— На моё имя, — повторила я. — То есть если совет решит, что я здесь лишняя, долг спишут на меня.

Он молчал. Я видела, как он сжал челюсть, и видела, как на скуле у него дёрнулась жилка, и знала, что он не умеет просить, даже когда очень хочет.

— Ты не лишняя, — сказал он наконец.

— Я слышу другое. Ты говоришь «на твоё имя» так, будто предлагаешь мне подарок.

— Я предлагаю тебе... — он запнулся, и я вдруг поняла, что он собирался сказать «помощь», а слово застряло, потому что для него попросить о помощи — это то же самое, что вынуть клинок из раны и показать, что рана была. — Я предлагаю тебе место в счётной книге рода. Открытое. С печатью.

— С какой печатью?

— С моей.

Я посмотрела на папку. Потом на его руку, лежавшую на столе. Чернила на пальцах. Свежие, ещё не высохли, и он их не вытирал, и я не знала, забыл ли он или оставил специально, чтобы я увидела. С Рейнаром всегда — не знаешь.

— Если я подпишу, — сказала я, — совет решит, что ты меня купил.

— Совет решит то, что совету решать.

— А ты?

Он поднял на меня глаза. Серые, как камень под дождём, и я подумала, что за эти три года он стал старше на все десять, которые мы не виделись, и что шрам у него на виске, тот, которого я не помню, — это шрам от собственной глупости, иначе бы он его не прятал за чёлкой.

— Я решу, что дом будет жить, — сказал он тихо.

Я поставила кружку. Пальцы у меня были горячие от котла, а его — холодные, и я это увидела, и он увидел, что я увидела, и камин за его спиной вдруг треснул коротко, ровно на один удар сердца.

— Тогда подпиши сам, — сказала я. — При мне. Не через папку, не через управляющего. Ты.

Он не пошевелился. Потом взял перо, обмакнул в чернила, и перо пошло к бумаге, и я смотрела, как он подписывает — «Рейнар Морр, лорд Чёрного Крыла» — и как чернила ложатся неровно, потому что руки у него не дрожат, но замирают на середине, и я знала эту его заминку, и знала, что он сейчас подписывает не счёт.

Камин треснул ещё раз. Я отвернулась к котлу и сняла крышку, и пар обжёг мне лицо, и я подумала, что если он сейчас скажет хоть слово про то, что я должна остаться, я вылью ему этот кипяток на сапог, и пусть тогда объясняет совету, почему.

Он не сказал.

Он убрал папку, кивнул и пошёл к двери, и на пороге остановился.

— Сегодня к вечеру пришлю ключ от кладовой, — сказал он, не оборачиваясь.

— Пришли, — ответила я.

Дверь закрылась. Я досчитала до десяти, потом подошла к столу и дотронулась до подписи. Чернила уже подсыхли, но под подушечкой пальца я почувствовала, что бумага всё ещё тёплая. Я постояла так, глядя в окно, где Март уже нёс воду в чане, и поймала себя на том, что прижимаю палец к его подписи, как будто это что-то значит. Это ничего не значило. Ничего.

Ключ от кладовой принесли не к вечеру. Его принесла сама ключница, и принесла его в левой руке, как будто это была ложка, а не право решать, где теперь будут стоять мои горшки с травами.

Я как раз разбирала сушёный лопух, когда услышала шаги. Не тяжёлые, не лордские — мягкие, с пришарком на левой пятке, который я помнила по прежней жизни. Ключница звали Орной, и она работала в замке ещё до того, как я впервые переступила порог, и мы с ней никогда не были подругами, но у нас был уговор: она никогда не совала нос в мои счета, а я никогда не пересчитывала её ключи.

— Госпожа, — сказала она, и голос у неё был ровный, но я услышала, как он сел на последнем слове, и поняла, что она тоже не знает, как теперь меня звать.

— Положи на стол, — сказала я. — И не зови меня госпожой. Я работница.

Она положила ключ на стол, но не на край, как кладут чужое, а ближе к моему локтю, как кладут своё, и я это увидела, и она увидела, что я увидела, и каменная плита под моими босыми ногами стала на полградуса теплее. Орна отвела глаза.

— Лорд сказал, чтобы вы взяли под расписку, — добавила она тихо. — И ещё он сказал, чтобы вы сегодня же спустились в подвал и пересчитали муку. Ту, что вчера привезли. Казначей врёт, что её было двенадцать мешков.

— А сколько было? — спросила я, не поднимая головы от лопуха.

— Девять, — сказала она. — Я мешки вносила.

Я отложила корень и посмотрела на неё. Она стояла у двери, уже повёрнутая к выходу, и её правая рука лежала на ручке так, как будто она держала её уже давно и ждала только моего кивка.

— Подожди, — сказала я. — Где расписка?

Она достала из кармана передника сложенный вчетверо лист. Я развернула его на столе, поверх сушёного лопуха, и прочитала. «Принято от ключницы Орны, замковый ключ нижней кладовой, под расписку». И ниже — пустая строка для моего имени. Не «Элиса Вейл, работница». Не «госпожа». Просто пустая строка.

Я взяла перо. Оно было толстое, кухонное, не канцелярское, и я поняла, что Орна взяла его сама, а не из ящика в кабинете, и что это тоже было что-то вроде ответа на мой вчерашний кивок. Я расписалась. Поставила точку. Подвинула лист обратно.

— Передашь лорду, — сказала я. — Лично.

Она взяла лист, и на одну секунду её пальцы задержались на краю стола, рядом с моей рукой, и я почувствовала тепло, идущее от её кожи, и поняла, что она тоже устала, и что она тоже помнит, как этот стол пах три года назад, когда я тут стояла и резала корни для отвара, и что она не скажет мне этого, потому что уговор у нас был про другое.

— Госпожа, — сказала она снова, уже тише, и я не стала её поправлять.

Она ушла. Я посидела ещё минуту, потом встала и пошла в подвал, и каменные ступени под моими босыми ногами были тёплые, и в углу у третьей ступени сидела та же кошка, что и три года назад, и она подняла голову и мяукнула, и я ей ничего не сказала, потому что говорить с кошкой в чужом доме — это всё-таки слишком.

В подвале было девять мешков. Я пересчитала дважды. Потом поднялась, нашла в передней Бранна, и он стоял у стены, и у него в руках была такая же папка, как у Рейнара, только тоньше, и он сказал:

— Лорд просил передать.

Я взяла папку. Внутри был счёт, и против каждой строки стояла не подпись казначея, а подпись Рейнара, и чернила были ещё сырые. Я закрыла папку и посмотрела на Бранна.

— Он что, сам сидит и считает муку? — спросила я.

— Он сидит и считает всё, — сказал Бранн тихо. — Он не спал.

Я ничего не ответила. Я пошла обратно в лечебницу, и по дороге у чёрной лестницы встретила Кейлана. Он шёл с книгой под мышкой и на меня не посмотрел, и я на него тоже не посмотрела, но мы оба замедлили шаг, и он буркнул что-то себе под нос, и я буркнула тоже, и оба мы сделали вид, что ничего не было, и каменная плита под его ногой в этот момент была на полградуса теплее, чем под моей, и я это почувствовала пяткой, и мне захотелось сесть прямо тут, на ступеньку, и не вставать до вечера.

Я не села. Я пошла в лечебницу, открыла свой ящик и достала из нижнего отделения чистый лист. Написала сверху: «Девять». Подчеркнула. Положила лист поверх подписанного Рейнаром счёта, и сверху придавила каменной солонкой, которую сама же три года назад вылепила из глины и обожгла в кухонной печи, и которую никто, оказывается, за эти три года не выбросил.

Потом я пошла к котлу. Потом сняла крышку. Потом посмотрела на свою руку, на указательный палец, где корочка пореза была тонкой и розовой, и подумала, что если я сейчас не поем, то к вечеру у меня опять заболит правое плечо, ровно там, где у него, и я не хочу, чтобы оно болело, потому что если оно заболит, я опять буду думать, от меня это или от него, и думать об этом сейчас было поздно.

Я поела. Хлеб был чёрный, вчерашний, и масло на нём было солёное, и я сидела на табурете у окна и смотрела, как Март во дворе несёт воду, и думала, что вечером он придёт снова, и я снова буду молчать, и он снова будет молчать, и камин за его спиной будет трещать, и это ничего не значит.

Ничего.

Вечером он пришёл не в лечебницу. Он пришёл в кухню, и это было хуже, потому что в кухне я стояла босиком на каменной плите, и плита была тёплая, и между моих пальцев просачивалось знакомое тепло, и я не хотела, чтобы он видел, как мои ступни розовеют от чужого дома.

У него под мышкой была папка. Тёмная, кожаная, с тиснёной буквой «М», и я знала эту папку — в ней носили счета, которые нельзя показывать при слугах.

— Девять, — сказал он вместо приветствия и положил папку на стол.

Я не двинулась с места. Котёл за моей спиной тихо булькал, и вода в нём была чистая, и пар поднимался ровно, и я знала, что если я сейчас обернусь, он увидит, как мои пальцы дрожат, а если не обернусь, он увидит, как розовеет кожа у меня на щиколотке.

— Девять счетов, — повторил он. — Которые ты отказалась принять утром. И ещё семь, которые пришли с гонцом от казначея. Всего шестнадцать. Подпиши.

— Я не отказывалась, — сказала я, всё ещё не оборачиваясь. — Я сказала, что у меня нет твоей подписи под допуском.

— Подпись будет утром.

— Утром я приду к ключнице и распишусь в её книге. В твоей — потом.

Он молчал. Я слышала, как он переступил с ноги на ногу, и каменная плита под его каблуком чуть скрипнула, и плита под моими босыми ступнями в тот же миг стала прохладнее, на полградуса, не больше, но я это почувствовала сразу, потому что три года назад я знала в этом доме каждую плиту на ощупь, и дом меня тоже знал, и если он злился — а он злился, когда один из нас врал — камень отзывался холодом под тем, кто врал, и теплом под тем, кто говорил правду.

Я обернулась. Он стоял у дверного косяка, и плечом опирался о стену, и папка лежала на столе, и его пальцы лежали на папке, и я смотрела на его пальцы, и не на его лицо, потому что его лицо я сегодня уже видела утром, в коридоре, когда он прошёл мимо и буркнул что-то себе под нос, и мне этого хватило.

— Положи счета на стол, — сказала я. — Я посмотрю.

— Их нужно подписать сегодня. Казначей ждёт.

— Казначей подождёт. Я — не подпишу, пока не увижу, за что.

Он стиснул челюсть. Я видела, как дрогнул мускул у него на скуле, и как его пальцы на кожаной крышке побелели, и как он медленно, очень медленно, разжал их, и снял папку со стола, и раскрыл её, и положил передо мной. Я не села. Я наклонилась над столом, и волосы упали мне на щеку, и я убрала их тыльной стороной ладони, той самой, с тонкой розовой корочкой на указательном пальце, и он увидел, и его взгляд задержался на моей руке на одно лишнее дыхание, и я сделала вид, что не заметила, и он сделал вид, что не заметил, и котёл за моей спиной булькнул громче, чем нужно, и я знала, что это значит — что дом заметил, и что ему это не всё равно.

Первый счёт был за сушёный лопух. Второй — за воск. Третий — за полотно на повязки. Четвёртый, пятый, шестой — за травы, которые я сама собирала вчера на рассвете, и я перебирала их, и номера были правильные, и количества были правильные, и у меня в горле стало тесно, потому что казначей всё считал честно, и это было хуже, чем если бы он считал нечестно, потому что на нечестный счёт я могла бы злиться, а на честный — нет.

На седьмом счёте я остановилась. Стоимость молока. Молоко я не покупала. Молоко мне приносила ключница, каждое утро, молча, в глиняном кувшине с отбитым краем, и я не просила, и ключница не говорила, что принесла, и я не записывала, и казначей записал.

— Это не моё, — сказала я. — Вычеркни.

— Казначей не вычёркивает.

— Тогда пусть он спросит у ключницы, откуда молоко. Ключница ответит, что от своей коровы. Казначей тогда спросит у коровы. Корова не ответит. Счёт закроют.

Он смотрел на меня, и я не подняла глаз, и мои пальцы лежали на листе, и я чувствовала, как бумага чуть пожухла под моей кожей — старая, рыхлая, тронутая подвальной сыростью, и я подумала, что в этом доме бумага портится быстрее, чем камень, и что камень здесь помнит дольше, чем бумага, и что мой указательный палец сейчас лежит на чужом счёте, и что под этим счётом, если содрать чернила, наверное, найдётся ещё одна стёртая подпись.

Я убрала руку.

— Подпишу восемь, — сказала я. — Седьмой — пусть казначей сам принесёт ключнице.

Он не ответил. Он смотрел на мою руку, на указательный палец, на розовую корочку, и я знала, что он видит то же, что и я: что порез заживает, что кожа заживает, что в этом доме

всё заживает быстрее, чем должно, и что это не потому, что здесь хороший воздух, а потому, что дом меня не отпускает.

— Утром подпиши, — повторил он тихо. — Придёшь к ключнице.

Я кивнула.

Он взял папку, и счёты, и перо, и сунул всё обратно, и пошёл к двери, и в дверях остановился, не оборачиваясь.

— Молоко я отмечу, — сказал он. — Утром.

И ушёл. И каменная плита под моими босыми ногами в тот же миг стала тёплой, настоящему тёплой, до щиколотки, и я стояла босая на чужом полу, и смотрела на дверной косяк, и на его плечо, которого там уже не было, и на тёмный прямоугольник папки, которую он забыл на столе, и я подошла, и открыла, и увидела под верхним листом ещё один, тонкий, почти прозрачный, и на нём была его подпись — не та, ровная, под допуском, а другая, косая, торопливая, и под ней стояло: «Молоко — ключница. Не в счёт». И я положила этот лист в карман, и сверху придавила каменной солонкой, и пошла к котлу, и сняла крышку, и посмотрела на свою руку, и подумала, что если он утром не придёт к ключнице, я эту подпись всё равно никому не покажу.

Я не пошла в кухню сразу.

Села на табурет, достала из кармана его листок, разложила на колене, разгладила пальцами. Чернила были ещё влажные, палец оставил синюю полоску на подоле, и я долго смотрела на неё, прежде чем сложить обратно. «Молоко — ключница. Не в счёт». Восемь слов, которые стоили больше, чем все восемь счётов, под которыми он сегодня расписался. Я знала, что он не придёт. Не потому что он не хотел, а потому что утром у казначея будет для него новая папка, и старейшина позовёт его к себе, и Бранн доложит про очаг в северном крыле, и до ключницы он не дойдёт. Молоко останется записано за мной, и ключница отметит, и в её тетради появится ещё одна строка о том, как я съела лишнее, и это будет правдой, и это будет ложью, и я не знала, чего больше.

Плита под ногами медленно остывала.

Я заметила это не сразу. Встала, прошлась до котла, подбросила полено, вернулась — и поняла, что иду босиком, и что камень под ступнями уже не тёплый, а просто камень, и что между щиколоткой и плитой нет того тихого разговора, который был, когда он смотрел на мой палец. Я остановилась посреди кухни. Прислушалась. Где-то в глубине стены что-то щёлкнуло — не камин, не труба, а как будто камень сжался, и ещё раз, и ещё, тихо, с тем самым звуком, с каким трескается лёд на луже в первый мороз. Я знала этот звук. Я слышала его три года назад, в ту ночь, когда он сказал мне уйти.

Я не хотела уезжать тогда. И сейчас я не хотела оставаться.

Это было разное. Тогда я не хотела уезжать, потому что любила кухню и слуг и его сына, и каменные стены, которые ещё помнили моё имя. Сейчас я не хотела оставаться, потому что понимала: если я останусь — из страха перед новой дорогой, из усталости, из того тёплого камня под пятками, который дом мне подсовывает, как собака подсовывает хозяину тапок, — то дом примет это за ответ, и тогда я уже не смогу уйти честно. Тогда я уйду, только когда снова стану не нужна. И это будет третий раз. И камню всё равно, третий или тридцать третий, — он считает только правду.

Я подошла к двери в коридор, прислонилась к косяку, сунула босую ступню под тёплую нижнюю петлю. Петля была тёплая, как живая. Я постояла, считая до десяти. На восьмом в коридоре послышались шаги — лёгкие, осторожные, по-мальчишески неровные. Я узнала бы его из тысячи.

— Мам, — сказал Кейлан из темноты, не подходя. — Ты не спишь?

— Не сплю, — ответила я.

— Я слышал, как он ходил. Думал, ты с ним.

— Со мной. Уже ушёл.

Он помолчал. Потом подошёл, встал рядом, тоже босиком, и я увидела, что он поставил свою ступню ровно на мою, как в детстве, когда мы с ним вот так стояли у печи и ждали, пока поднимется тесто. Его пятка была холодная, а моя тёплая, и камень под нами медленно, нехотя стал оттаивать.

— Молоко, — сказал он тихо. — Я сам отмечу. Утром. У ключницы. Скажу, что выпил.

Я посмотрела на его макушку, на тёмный завилочек, который никак не хотел лежать. Мне захотелось намочить палец и пригладить, и я не стала.

— Не надо, — сказала я. — Не ври за меня.

— Я не за тебя. Я за молоко.

Я отнесла свою чашку к мойке и не обернулась, потому что знала: если обернусь, он ещё стоит, и это будет хуже, чем папка на столе. Папка осталась лежать на краю, и я слышала, как бумага внутри тихо потрескивает, остывая. Звук был тонкий, похожий на то, как трещит ледок на лужах в марте, когда снизу уже подходит вода.

— Элиса, — сказал он.

— Подожди, — сказала я, и плеснула воды на дно котла, чтобы не пригорело. — Дай мне руки занять.

Это была неправда. Руки у меня были заняты тем, что я их не поднимала. Но Рейнар не стал уточнять, потому что тоже знал, что это неправда, и потому что между нами уже два дня как установилось это молчание, в котором каждый знает, что другой знает, и оба делают вид, что не знают. Я слышала, как он подвинул табурет, как сел, не близко, не далеко, а ровно на ту дистанцию, на которой удобно передавать счета.

— Тут не только долги по кухне, — сказал он.

— Я вижу.

— Тут ещё лечебница. И бельевая. И прачечная.

Я наконец обернулась. Он сидел ровно, руки на коленях, папка лежала на столе между нами, и на ней я увидела пятно от его большого пальца — он её уже открывал, и чернила у него на подушечке были мои, потому что он расписался в моей книге утром, когда ключница не смотрела. Я заметила это пятно и не стала говорить. Подпись в чужой тетради — это его ставка, не моя.

— Сядь, — сказала я, и кивнула на второй табурет.

Он посмотрел на табурет, на меня, опять на табурет.

— Он короткий, — сказала я. — Я знаю.

Он сел, и колени у него оказались выше, чем нужно, и он это знал, и я это знала, и мы оба сделали вид, что не заметили. Между нами лежала папка. Я положила на неё руку — не на бумагу, на кожу обложки, и кожа была тёплая, потому что он её держал.

— Дай я, — сказала я.

— Я сам.

— Рейнар, я с утра считаю чужие счета. Дай я.

Он убрал руку. Я раскрыла папку, и первое, что увидела, была его собственная подпись внизу, размашистая, левее, чем обычно, и рядом, мелким почерком, кто-то дописал: «по распоряжению лорда». Кто-то из старейшин. Я провела пальцем по этой приписке и почувствовала, как бумага холодеет под подушечкой, и это была не моя фантазия, потому что в кухне стало на полградуса холоднее, и поварёнок Март зябко передёрнул плечами у плиты.

— Кто писал? — спросила я.

— Годрик.

— Ясно.

Я стала читать. Счета шли ровными столбцами, и каждый столбец был мне знаком, потому что половину из этих расходов я положила собственными руками в собственные книги.

Лён для лечебницы. Сухие травы, которые везут из-за холма, и обоз в этом году задержали на три дня, и я писала об этом ключнице, и ключница молчала. Мазь от ожогов. Я остановилась на мази. Её я варила сама, и в книге расходов значилось «по рецепту дома», а рядом, другими чернилами, кто-то приписал «по закупке у чужих». Я провела пальцем по этой приписке, и ноготь зацепился за бумагу, и я почувствовала, как у меня на скуле затвердело.

— Рейнар.

— Да.

— Это ложь. Мазь я варила сама. Из своих трав. Из тех, что привезла в ящике.

Он не ответил. Я подняла глаза. Он смотрел на свои руки, и я впервые увидела, что он не знал. Что он подписал, не проверив, потому что доверял, а доверял, потому что так было проще.

— Ты не знал, — сказала я, и голос у меня был ровный, без злости, и это было хуже злости.

— Элиса.

— Нет. Подожди. Дай мне договорить, а то я потом не договорю.

Он закрыл рот. Я снова посмотрела в счета. Там, где я остановилась, шла строчка про воск для печати, и воск был чужой, не тот, каким я запечатывала свои банки, и это тоже было ложью, и я поняла вдруг, что вся папка — одна большая ложь, аккуратно собранная в кожаный переплёт и подписанная его именем.

— Зачем ты её принёс? — спросила я. — Если ты не знал.

Он молчал. Я видела, как у него на виске бьётся жилка, и я знала эту жилку, и знала, что он сейчас скажет то, что обычно говорят мужчины в его роду, когда не хотят признавать, что ошиблись: что он хотел как лучше, что он хотел, чтобы я увидела всё сама, что он принёс мне папку не для отчёта, а для того, чтобы я могла защититься.

— Рейнар, — сказала я. — Если ты скажешь «я хотел, чтобы ты сама», я встану и уйду.

Он посмотрел на меня. Потом сказал:

— Я хотел, чтобы ты сама.

Я не ушла. Я осталась сидеть, и он остался сидеть, и мы оба понимали, что я его поймала, и что он сам себя поймал, и что встать и уйти сейчас было бы милосердием, которого я ему не должна. Я положила ладонь на папку, и кожа под моей рукой стала прохладнее, потому что он убрал свою.

— Тогда слушай, — сказала я. — Мазь моя. Воск мой. Травы мои. Лён на лечебницу покупала я, через ключницу, и ключница может подтвердить каждую строчку, потому что я записывала. Обоз задержался, потому что дорогу размыло, и это не долг, это погода. Прачечная — там твоё, там я не лезла. Бельевая — там я нашла чужую рубашку, и это тоже не долг, это твоя вина, и платить за неё я не буду.

Он молчал. Я закрыла папку и подвинула её к нему.

— Забери, — сказала я. — И больше не носи мне бумагу, где кто-то другой пишет «по распоряжению лорда». Если лорд распоряжается, пусть лорд и пишет своей рукой.

Он взял папку. Пальцы у него были чуть влажные, и я увидела, как он их вытер о штанину, спрятав под стол, и подумала, что он делает так с детства, и что я видела этот жест, когда ему было четырнадцать, и что ничего в нем с тех пор не изменилось, и от этого мне стало больно, и я не дала боли подняться выше горла.

— Элиса, — сказал он, и голос у него был тот, который я не люблю, потому что в нём звучит «пожалуйста», а «пожалуйста» от него — это всегда чья-то чужая вина.

— Нет, — сказала я. — Не надо.

— Я хочу.

— Я знаю, что ты хочешь. Именно поэтому не надо.

Он закрыл рот. Я встала, подошла к плите, сняла крышку с котла и посмотрела на воду. Вода была ровная, белая, как утром, и я подумала, что котёл кипел без моей руки, и что лечебница грелась без моего слова, и что дом слушается меня через вещи, и что вещей у меня в этом доме почти не осталось, кроме ящика, который слуги поставили на главный стол, и крючка, где висит моё старое пальто, и ступени на третьей ступеньке, по которой он спотыкается, когда идёт ко мне.

— Кофе, — сказала я.

— Что?

— Кофе. Сядь. Я тебе сварю.

Он сел обратно. Я достала банку, ту самую, с моей печатью, от которой у старейшин сводило скулы, и отмерила, и поставила котёл поменьше, и огонь взялся сразу, и я подумала, что, может быть, это и есть та самая магия, о которой говорят старинные книги: не слово, не кровь, а просто руки, которые помнят, где у него печать, и где у меня крышка, и что варится в маленьком котле быстрее, чем в большом.

Я молчала. Он молчал. Поварёнок Март молча ушёл в кладовую, и шаги его стихли за дверью, и мы остались вдвоём, и это было неправильно, потому что в кухне всегда кто-то есть, и без свидетелей нам было слишком тихо, и слишком слышно, как капает вода из крана, и как потрескивает огонь.

— Я подпишу заново, — сказал он наконец.

— Подпиши.

— Своей рукой. Без «по распоряжению».

— Подпиши.

Он замолчал. Я налила кофе в две чашки, поставила перед ним ту, что с трещиной, потому что ровная была моя, и мне хотелось, чтобы у него в руках была трещина, а не гладкое. Он взял чашку, и пальцы у него легли точно туда, где у чашки была щербинка, и я поняла, что он знал, какую чашку я выберу, и что мы оба опять делаем вид, что не знаем.

— Спасибо, — сказал он.

Я не ответила. Я села напротив и обхватила свою чашку обеими руками, потому что у меня мёрзли пальцы, и потому что так я могла не смотреть на него, и он мог не смотреть на меня, и мы могли пить кофе в тишине, которая впервые за этот день не была ложью.

Мы постояли ещё. Камень под нами стал по-настоящему тёплым, и я подумала, что, может быть, это и есть тот самый ответ, который дом считывает раньше меня: не мой страх, не его приказ, а босые пятки на одной плите, и мальчик, который врет за молоко, и мать, которая не разрешает врать. Я положила руку ему на макушку. Он не стряхнул.

— Иди спать, — сказала я. — Завтра я сама.

Он кивнул и ушёл, и шаги его были уже не неровные, а ровные, отцовские, и я стояла в дверях и слушала, как они стихают на лестнице, и камень у меня под босыми ногами держал тепло, и я впервые за этот день не стала считать, кому я должна за это тепло, и кому придётся отдать, и просто стояла.

Глава 4. Бельевой шкаф

Я шла в бельевую не за рубашкой. Шла за чистым полотном для перевязки — у повара снова пошла кожа на ожоге, и Мира сказала, что в кладовой под лестницей осталось два неподмоченных рулона, но ключ у неё не тот, а у ключницы, а ключница сегодня с самого утра у ребёнка, и лучше бы мне пройти самой, потому что ключница всё равно откроет, если я постучу, но не откроет, если постучит Мира, и у меня не было сил сейчас объяснять, почему.

Бельевая пахла мылом и чуть-чуть — мокрой шерстью. Кто-то сушил у печи большое одеяло, и оно задело меня по лицу, тёплое, тяжёлое, и я отвела его рукой и остановилась.

Нижний ярус шкафа, тот, что у стены, был выдвинут на ладонь. Не настезь — на ладонь, ровно столько, чтобы в щели виднелся край белой ткани. Белое в этом доме не держат на виду. Белое в этом доме прячут, и я это знаю, потому что сама так делала, когда носила траур по свекрови и когда выходила замуж, и когда снимала с себя свадебное, и три года назад, когда не снимала, а отдала, свернув в узел, и велела убрать подальше, и мне сказали, что убрали.

Я присела на корточки. Колени упёрлись в каменную плиту, холодную, сухую, и я подумала мельком: странно, в этой комнате печь топится с утра, а пол как в коридоре. Подтолкнула створку пальцем.

Рубашка лежала под стопкой простыней, сложенная по сгибу, ровно, как кладут вещи, которые больше не собираются надевать, но и выбросить нельзя. Льняная, с тонкой вышивкой по вороту, по подолу, по манжетам — мелкий лист, мелкая ягода, я такие узнаю с закрытыми глазами, потому что сама учила девочек, которые вышивали на наших. На вороте, чуть ниже левого плеча, ткань потемнела. Не грязь. Я потянула край, и под ним открылась каменная плита, а на плите — пятно, круглое, ржавое по краям, сухое, но не чёрное, а тёмно-красное, и от него тянуло холодом, хотя печь в двух шагах дышала жаром.

Я не дотронулась до пятна. Положила рубашку обратно, как лежала, расправила простыни поверх, задвинула ярус до конца и села на кор, не на корточки, а на самый пол, потому что ноги вдруг перестали держать. Холод шёл снизу, от камня, и поднимался, и я сидела в этом холоде, и руки мои лежали на коленях, и указательный палец левой руки — тот, с которого я утром сняла повязку, с которого срезала засохшую корочку, потому что она мешала держать перо, — указательный палец ныл ровно там, где у рубашки было тёмное пятно.

— Госпожа.

Голос был ключницы. Она стояла у двери, в мокром платке, с ключами на поясе, и смотрела не на меня, а на шкаф.

— Я за полотном, — сказала я, и голос у меня вышел ровный, и я была ему благодарна.

— Полотно в верхнем ларце, — сказала ключница. — А это не трогайте.

— Я не трогала.

Она кивнула, и я видела, что она мне не поверила, но спорить не стала. Подошла, переложила ключи с одного бедра на другое, и сказала, глядя теперь уже на меня:

— Она шила в этой комнате. Когда ждала. Тут ей и стало плохо.

— Кто?

— Та, что до вас. Имя у неё было простое, я его помню, а вы нет.

Она повернулась и пошла к двери, и я встала с пола, и колени у меня хрустнули, и я подумала, что надо спросить, какое имя, и не спросила, потому что ключница уже вышла, а я осталась одна с печью, и с холодным полом, и с ярусом шкафа, который я задвинула, и который, я знала это точно, она не тронет, потому что так в этом доме не делается: чужую беду не убирают, её хранят, пока кто-нибудь не назовёт вслух.

Я подняла руку и посмотрела на свой указательный палец. Корочка на нём порозовела, как у ребёнка, и под ней кожа была тонкая, и я знала, что если я сейчас уколою её булавкой,

то капля, которая выступит, будет цвета того пятна на камне, и что дом, который помнит мои руки, помнит и эти руки, и что мне впервые стало страшно не проклятия, а цены.

Я достала из верхнего ларца два рулона полотна, положила под мышку и пошла к двери. У порога остановилась и сказала тихо, чтобы слышали стены, а не ключница, и не тот, кто сушил одеяло:

— Я запомню.

Пол под босой ногой стал чуть теплее. Я перешагнула порог и пошла в лечебницу, и рулон под мышкой пах мылом, и мокрым льном, и чуть-чуть — кровью, хотя крови на нём не было.

Лечебница встретила меня запахом спирта, влажного бинта и тёплого камня, и я сразу поняла, что Мира уже здесь: на главном столе стоял мой ящик, переставленный, конечно, кем-то из слуг ещё до рассвета, а рядом — её собственная котомка, и из котомки торчал сухой стебель пустырника, и я подумала, что надо будет сказать ей, что пустырник от бессонницы она кладёт не в ту сторону, но не сказала, потому что Мира стояла у двери, и по тому, как она стояла, я поняла, что в лечебнице кто-то есть.

— Кто? — спросила я, не здороваясь, и повесила рулон на крюк у двери.

— Привели, — сказала Мира. — Прачка. Упала на ледник, плечо. Рейнар приказал...

— Рейнар, — повторила я ровно. — Знаю. Умойся и нагрей воду.

Она кивнула и ушла, а я подошла к столу, открыла ящик, и руки мои сами легли на те же ячейки, которые я размечала три года назад: слева — листья, справа — корни, в центре — то, что режет. Прачка лежала на скамье, правое плечо у неё было синим, и она не стонала, и от этого мне стало хуже, потому что те, кто не стонет, обычно стонут позже, когда отпустит.

— Покажи, — сказала я, и она повернулась ко мне лицом, и я увидела, что ей лет тридцать пять, и что у неё на шее — тонкий шрам, и что она меня узнала, и что она не знает, как на это реагировать, и я не стала ей помогать, потому что не моё дело решать за чужих людей, что они чувствуют, увидев меня в этой комнате.

Я положила ей на плечо холодную тряпку, потом прижала ладонь, и плечо под моей ладонью дёрнулось, и она наконец выдохнула, и я сказала:

— Кость цела. Синяк будет. Завтра придёшь, я перевяжу.

— Госпожа, — сказала она тихо, и я заметила, что слово у неё вышло с запинкой, как будто она его примеряла.

— Элиса, — поправила я. — Я тут не госпожа. Я тут по делу.

Она кивнула, и я отвернулась, и в этот момент в дверь постучали, и стук был не слуг, и не Рейнара, и я подумала, что знаю, кто это, ещё до того, как дверь открылась, потому что так в этом доме стучат только те, кто имеет право войти, но не имеет привычки это делать.

Вошел Бранн, и в руке у него была папка, и он положил её на край стола, и папка была та самая, с новыми счетами, и я увидела, как он покосился на ящик, и на рулон, и на прачку, и на меня, и на его лице прошло то выражение, которое я у него помнила: управляющий, который видит, что дом работает, и не знает, радоваться этому или бояться.

— Казначей прислал, — сказал он. — Просит подпись.

— Подпись, — повторила я. — Под чем?

— Под тем, что расходы на лечебницу согласованы с родом, — сказал он, и голос у него был ровный, и я поняла, что он сам не верит в то, что говорит, и что он это знает, и что он всё равно это говорит, потому что так в этом доме делается: сначала бумага, потом человек.

— А если не подпишу? — спросила я, и сама удивилась, как спокойно это прозвучало.

— Тогда спишут на тебя долю проклятия, — сказал он, и я заметила, что он не отвёл глаза, и что он не добавил «мой лорд приказал», и что именно поэтому я ему поверила.

Я взяла папку, открыла, и счета были мне знакомые, и цифры в них были мне знакомые, и я знала, что половина из них — правда, а половина — нет, и я знала, что если я подпишу,

то подпись моя ляжет под чужой ложью, и что если я не подпишу, то завтра казначей скажет совету, что я срываю работу, и что совет ему поверит, потому что совету удобно ему верить.

Я закрыла папку, положила её обратно на край стола, и сказала:

— Передай казначею, что я подпишу только то, что сама пересчитаю. Завтра.

Бранн кивнул, и я увидела, как он еле заметно выдохнул, и я поняла, что он ждал другого ответа, и что другой ответ ему не понравился бы больше, и что он ушёл, и что дверь за ним закрылась, и что в лечебнице стало тихо, и что прачка на скамье приподнялась на локте, и посмотрела на меня, и я не знала, что она увидела, и мне было всё равно, потому что я смотрела на свой указательный палец, на котором корочка порозовела ещё больше, и под ней кожа была тонкая, и я знала, что если я сейчас уколою её булавкой, то капля, которая выступит, будет цвета того пятна в белье, и что дом, который помнит мои руки, помнит и эти руки, и что мне впервые стало страшно не проклятия, а цены.

— Госпожа, — снова сказала прачка, и снова с запинкой, и я не поправила её, потому что не было сил, и потому что в этом доме, кажется, все сегодня хотели назвать меня не тем словом, и я не знала, каким словом меня назвать, и я не знала, каким словом меня назвать самой себе.

Я подошла к окну, открыла ставню, и в окно пахнуло дождём, и мокрым камнем, и чуть-чуть — дымом, и я подумала, что это, наверное, горит где-то на кухне, или в литейной, или в том крыле, куда меня пока не пускают, и я подумала, что дождь будет идти весь день, и что к вечеру рулон, который я принесла, надо будет повесить сушить, и что Мира так и не нагрела воду, и что прачка всё ещё лежит, и что я сегодня ничего не подписала, и что это, наверное, тоже чего-то стоит.

Я вернулась к столу, взяла свой ящик, и переставила его ровно на то место, где он стоял утром, и ящик лёг в углубление столешницы, как будто его там и не снимали, и я подумала, что если дом меня слышит, то пусть он услышит и это: ящик стоит, и я стою, и цена пока не названа, и я не ухожу.

Я не знала, зачем иду туда снова. Ноги сами привели по знакомому коридору, мимо закрытой двери в оружейную, мимо гобелена, под которым я утром сказала стенам, что не ухожу. Мира окликнула меня из-за угла, я отмахнулась: не сейчас, мне надо в бельевую. Она не стала спорить, только посмотрела так, как будто знала, что я там ищу, и боялась, что найду.

Дверь в бельевую была приоткрыта. Внутри пахло лавандой и сырым холстом, и ещё чем-то медным, что я сразу узнала и сразу не захотела признавать. Я переступила порог, и каменная плита под моей босой ногой была тёплая, и это было уже слишком: обычно бельевая была самой холодной комнатой в этом крыле, потому что камень здесь был ближе к подвалу, и магия очага сюда не добиралась.

Шкаф стоял там же, где утром. Я подошла, открыла дверцу.

Рубашка лежала на том же месте, на том же льне, расправленная, как будто кто-то её перестелил после того, как я её трогала. Я провела пальцами по ткани: холстина была плотная, домотканая, с вышивкой по вороту, и вышивка была старая, такая, какую делают в приданое, когда девочке ещё нет десяти, и она ещё верит, что будет носить эту рубашку на свадьбу. Под воротом, там, где утром было тёмное пятно, теперь лежал чистый лоскут, сложенный вчетверо, и на лоскуте лежала булавка.

Не новая. Старая, медная, с чуть стёртой головкой.

Я взяла её двумя пальцами, и металл показался мне тёплым, и это было неправильно, потому что медь не хранит тепло так долго, и значит, её кто-то держал в руках, и держал не отдавая, и значит, тот, кто держал, знал, что я вернусь. Я поднесла булавку к глазам и увидела на головке крошечный знак: не печать дома, а просто царапинку, косую, похожую на галочку, и я вспомнила, что точно такая же царапинка была на той булавке, которой я в детстве колола свои первые перевязки, и что эту булавку мне подарила мать, и что мать умерла, когда мне было четырнадцать, и что я эту булавку потеряла в замке, когда уезжала.

Я положила булавку обратно на лоскут и закрыла глаза. Мне нужно было подумать, но каменная плита под ногами грела, и грела ровно, как натоленная печь, и думать в этом тепле было нельзя, потому что в тепле я всегда начинала верить, что дом меня ждал, а я просто долго шла.

За моей спиной скрипнула половица.

Я не обернулась. Я знала, кто это, по тому, как скрипнула именно эта доска: она скрипела только под его весом, потому что у Рейнара была тяжёлая поступь, и он всегда наступал на неё первым, входя в комнату, и я три года назад затыкала эту щель тряпкой, но кто-то тряпку убрал.

— Ты не ушла в кухню, — сказал он.

Голос был ровный, не приказной, но я научилась различать его оттенки, и в этом была усталость, и было ещё что-то, чему я не хотела называть имя.

— Я не обязана докладывать, — ответила я, и сама услышала, как зло это прозвучало, и не стала смягчать, потому что смягчать сейчас означало бы просить прощения за то, за что я не просила.

Он подошёл ближе, и я почувствовала запах его плаща, мокрой шерсти и дыма, и ещё чего-то, что я раньше не замечала в его запахе, чего-то медного и сухого, как прокалённая на огне монета. Я поняла, что он тоже был в белье, и не вчера, и не утром, а давно, и что он держал эту булавку, и что он её не отдал.

— Это твоя, — сказал он, и кивнул на лоскут.

Я обернулась. Он стоял у двери, не входя в комнату, и это было правильно, потому что я стояла у шкафа, и между нами был шкаф, и я не хотела, чтобы он подходил ближе. Его руки висели вдоль тела, и на правой руке я увидела пятно чернил, свежих, ещё не засохших, и чернила были те самые, из кабинета, и я поняла, что он только что подписывал что-то, и подписывал быстро, и что-то, что он подписал, было связано со мной, иначе бы он не пришёл сюда, и не держал бы руки так, чтобы я не видела, что в них.

— Подойди, — сказала я, и сама удивилась, что говорю это, и ещё больше удивилась, что он послушался.

Он сделал три шага, остановился у шкафа, и я взяла его правую руку, и повернула её ладонью вверх, и чернила были на среднем пальце и на подушечке большого, и под ногтем большого чернила забились, и это значило, что он писал много и неаккуратно, и что ему было всё равно, как ляжет подпись. Я держала его руку двумя пальцами, за запястье, и чувствовала, как под моими пальцами бьётся его пульс, и пульс был быстрый, быстрее, чем нужно, и я не знала, от того ли это, что я держала его руку, или от того, что он только что подписал.

— Что ты подписал? — спросила я, не поднимая глаз.

Он не ответил. Я подняла глаза. Он смотрел на меня так, как смотрел тогда, три года назад, в последний вечер, когда я ещё верила, что он скажет: останься, — и он не сказал, и я уехала, и вот теперь он стоял, и я держала его руку, и каменная плита под моими ногами была такой горячей, что я почти не чувствовала ступней.

— Элиса, — сказал он.

— Не сейчас, — сказала я, и отпустила его руку, и шагнула назад, и камень под ногой стал холодным, и я не знала, от того ли это, что я отступила, или от того, что он не назвал то, что подписал. — Сначала скажи мне, что ты подписал.

Он сжал пальцы в кулак, спрятав чернила.

— Я подписал твоё имя в родовой книге, — сказал он. — Не как работницу.

Я смотрела на него, и у меня в горле стало холодно, и это было не от камня, и не от проклятия, а от того, что я не знала, радоваться мне или бояться. Имя в родовой книге означало, что совету придётся заново решать, кто я в этом доме, и что Инара узнает первая, и что старейшина узнает первая, и что цена за это имя будет названа не мной.

— Ты не спросил, — сказала я.

— Я знал, что ты скажешь нет, — ответил он.

Я взяла со столика чистый лоскут и вытерла ему пальцы, медленно, палец за пальцем, и он не отдернул руку, и я чувствовала, как камень под ногами снова начинает теплеть, и тепло шло не от печи, и не от камина, а от того, что я делала, и от того, что он позволял мне делать. Я вытерла последний палец, сложила лоскут, положила его на столик.

— Я не говорю нет, — сказала я. — Я говорю: сначала цена.

Он кивнул. Я не кивнула в ответ. Я повернулась к шкафу, достала из-под рубашки прежней жены ту булавку, которую кто-то подложил, и поднесла её к его руке, и ткнула остриём ему в подушечку большого пальца, туда, где была чернильная корочка. Капля выступила сразу, тёмная, почти чёрная. Я поднесла булавку к каменной плите под шкафом, и на плите уже было старое пятно, бурое, высохшее, и я коснулась булавкой этого пятна, и его кровь смешалась с чужой, и камень под моими босыми ногами стал горячим, и я поняла, что цена началась.

Он смотрел на свою руку, на каплю, на пятно, и я видела, как он понял, и как он не отдернул руку.

— Теперь иди, — сказала я. — Мне нужно одной.

Он пошёл к двери. На пороге обернулся.

— Я не уйду из дома, — сказал он.

— Я знаю, — ответила я.

Дверь за ним закрылась. Я осталась одна с булавкой в руке, с пятном на камне, и с теплом под ногами, и я села на низкую табуретку у столика, и положила булавку на лоскут, и долго смотрела на свою руку, и кожа на подушечке большого пальца была розовая и тонкая, и я знала, что завтра я уколую себя сама, и капля будет моя, и цена будет названа мной, и что это будет первый раз, когда я плачу за себя сама.

Я подождала, пока шаги на лестнице стихнут, и только тогда поднялась с табуретки. Булавка лежала на лоскуте, рядом с каплей, которая уже подсыхала, и я накрыла её чистым уголком, чтобы не пристала пыль. Камень под ногами ещё держал тепло, но я знала, что к утру остынет, если я не сделаю то, что должна.

Я достала из кармана свой нож, маленький, складной, с костяной ручкой, который таскала с собой с лечебницы. Раскрыла лезвие. Посмотрела на свою левую руку, на подушечку большого пальца, туда, где у него теперь была корочка от укола, и где у меня через минуту будет такая же.

Я резала себя раньше. Когда варила зелья и пробовала на вкус, когда вытаскивала занозы из детских пальцев, когда чистила рыбу. Кожа на руках у меня была вся в мелких шрамах, и я давно не считала их. Но этот порез будет другим. Этот порез будет стоять имени, и я хотела, чтобы он остался, чтобы я видела его каждый раз, когда буду брать в руки перо.

Я прижала лезвие к коже. Один раз. Неглубоко. Капля выступила сразу, тёмная, почти чёрная, и я поднесла палец к плите, к старому пятну, и моя кровь упала ровно туда, где только что была его.

Камень не стал горячим. Он стал тёплым, ровно настолько, чтобы я почувствовала это босыми ступнями, и я стояла, не двигаясь, и ждала, что будет.

Ничего не было. Только тепло. Только тишина в стенах, та особенная тишина, когда дом слушает, а я молчу.

Я подождала ещё. Потом сказала тихо, чтобы слышали плиты, и шкаф, и рубашка в нём, и все, кого в нём больше нет:

— Мара Вейл. Торинна Морр. Лика Дарн. Элиса Вейл.

Четыре имени. Моё было последним, и я произнесла его ровно, без дрожи, и камень под ногами стал ещё чуть теплее, и я знала, что это значит.

Я убрала нож, завернула лезвие в чистую тряпицу, положила в карман. Посмотрела на свой палец — капля уже подсохла, корочка была тонкой и розовой, и я знала, что к вечеру

она сойдёт совсем, и что шрам, если и останется, будет белый, едва заметный, и что его увижу только я, и что этого достаточно.

Я сложила лоскут с булавкой и каплей, перевязала ниткой, положила в ящик, в нижний угол, под сухие травы. Закрыла ящик. Провела пальцем по крышке — гладкая, тёплая, как камень под ногами.

Потом я подошла к шкафу, открыла дверцу, посмотрела на рубашку. Белая, с засохшим пятном у ворота, с чужими инициалами у манжеты, и я знала, что эта рубашка теперь моя, и что я её заберу, и что она будет лежать в моём ящике рядом с лоскутом, пока я не решу, что с ней делать.

Я не стала её трогать. Не сегодня.

Я закрыла шкаф, прошла к двери, приоткрыла её. В коридоре было тихо, горела одна свеча у поворота, и я слышала, как где-то внизу, в кухне, кто-то двигает котёл. Запахло хлебом, и я поняла, что это Мира, и что она, наверное, не ложилась, и что мне нужно будет спуститься и проверить, не обожгла ли она руку.

Я задула свечу на столике у двери, и бельевая погрузилась в полутьму, и камень под ногами медленно остывал, и я знала, что он остынет не до конца, и что завтра, когда я войду сюда, он снова будет тёплым, и что это значит, что я больше не гостя в этом шкафу.

Я вышла, притворила дверь, и пошла по коридору к лестнице, и под моими босыми ногами стучал камень, который помнил четыре имени, и ни одно из них не было стёрто.

Глава 5. Чернила на его пальцах

Утро началось с того, что в кухне снова нашлась чужая горечь. Я стояла у котла, снимала пробу с отвара для ключницы, и вкус был не мой — слишком много полыни, слишком мало коры. Чужие руки варили здесь что-то вчера, и дом, который обычно не пускал никого к моему котлу, вдруг смирился.

Я вылила отвар, промыла чугунок и поставила его снова. Вода закипела ровно через нужное время, чистая, без привкуса, и я поняла, что меня здесь всё-таки слышат.

Седа пришла с мешком сушёной мяты, остановилась в дверях и переминалась. У неё всегда так: сначала ноги, потом слова.

— Госпожа, — сказала она, — там... ключница пришла. С ключами от кладовых. И с казначеем. И с ним.

Я кивнула. Поправила фартук, потому что руки заняты, а манжеты задрались выше запястий, и мне не хотелось показывать Рейнару следы от вчерашних перевязок. Не из стыда, просто кожа ещё горела.

Он вошёл в кухню так, как не входил три года назад: не впереди, а после ключницы. Не как лорд, а как должник. На нём был тёмный кафтан без родовой броши, и руки он держал не за спиной, а опустив, и в правой у него была папка с печатями.

Печать я узнала. Та самая, что стояла под моим стёртым договором — Айрвен, скрещенные ключи и драконья чешуя по ободу. Он не спрятал её. Положил папку на стол, и оттиск лёг рядом с моей разделочной доской.

— Нужно подписать, — сказал он.

Голос был ровный, без приказного хвоста, и я сразу не поверила. За три года я выучила, что у Рейнара бывает два тона: громкий, когда он уверен, и тихий, когда он просчитывает, как будет звучать его просьба. Сейчас был второй.

— Что подписать? — спросила я, не отходя от котла.

— Допуск к кладовым. По списку. Сроком до совета.

Он положил передо мной лист. Я прочитала его по диагонали — и увидела три строки, которые меняли всё. Не просто «допуск к кладовым для Элисы Вейл, работницы». Там было: «до возвращения советом её имени в родовую книгу». Формулировка казначея, не Рейнара. Казначей так не пишет. Казначей пишет «до особого распоряжения» и оставляет себе лазейку.

Я подняла глаза.

Он не отвёл взгляда. Стоял ровно, и я впервые за месяц заметила, как у него напряжена скула. Не гнев, не приказ. Усталость.

— Кто писал? — спросила я.

— Я.

— Неправда. Здесь почерк Годрика.

Он помолчал. Потом сказал тихо, почти себе под нос:

— Я подписал. Годрик вёл. Я не стал менять.

Я отставила ложку и подошла к столу. Он протянул мне перо. Я взяла его, и его пальцы задели мои — сухие, тёплые, с чернильным пятном на среднем. Он не отдернул руку. Я тоже.

Молчание длилось ровно одно дыхание. За спиной у нас треснул камин — коротко, глухо, как будто кто-то положил туда сырое полено. Я знала, что он заметил, и знала, что он сделает вид, что не заметил.

Я поставила подпись. Поставила рядом с печатью Айрвен, и чернила легли на оттиск, и на миг мне показалось, что я подписываю не допуск, а что-то совсем другое.

Когда я отдала перо, его пальцы снова задели мои. На этот раз он отвёл глаза первым. Скула у него дёрнулась.

— После совета, — сказал он, — если совет решит иначе, я перепишу.

— Хорошо, — сказала я.

Он кивнул и пошёл к двери. В дверях обернулся, и я увидела, что он смотрит не на меня, а на мои запястья, на следы от вчерашних перевязок, и взгляд у него был такой, будто он впервые увидел, что у меня тоже бывает кожа, которая трескается.

Потом он ушёл. Ключница проводила его глазами, посмотрела на меня, и я не стала объяснять. Седа шмыгнула носом в углу, и я велела ей нести мятую в сушильную.

Камин треснул ещё раз. Я положила на него ладонь, и он наконец согрелся.

Я не стала перечитывать подпись. Положила лист на край стола, придавила пустой кружкой, чтобы не свернулся, и пошла в лечебницу.

Коридор был уже тёплый, не тот холодный камень, по которому я шла вчера ночью. Дом, видно, запомнил, что меня сюда впустили, и теперь грел дорогу как свою. Я перешагнула порог, остановилась, послушала. В левом котле тихо булькало. В правом остыло. Я сняла крышку, понюхала. Вчерашний отвар перестоял, и от него тянуло кислым, ржаным. Я вылила его в лоток для трав, ополоснула котёл, поставила заново. Вода пошла чистая, без ржавчины, и я не удивилась. Я уже перестала удивляться тому, что чугун в моих руках делает то, чего не делал ни в чьих.

Седа пришла с мятой, глаза у неё были мокрые и виноватые.

— Я не плакала, — сказала она.

— Я знаю, — сказала я. — Разложи в три пучка. Верхний — на сушку, средний — в котёл, нижний — под пресс.

Она засутилась, и мята у неё в руках пахла так сильно, что у меня защипало в носу. Я дала ей занятие и повернулась к столу.

На столе лежала записка от ключницы. «Госпожа, счета за муку и солод за вторник и среду. Пекарь принёс, но без подписи казначея не отдаст. Бранн ждёт распоряжений у пекарской двери». Я прочитала, положила записку под кружку рядом с листом. Потом подумала и переложила записку в карман. Счета казначей всё равно не подпишет, пока не подпишет совет. А совет соберётся после обеда. А обед у нас теперь — не обед, а представление, где каждый гость смотрит, как Инара Айрвен держит веер.

Я пошла к Бранну.

Он стоял у пекарской двери, большой, спокойный, руки за спиной, будто ждал не меня, а дождя.

— Бранн, — сказала я, — мука и солод — за мой счёт. Из аптечных остатков. Я отпишу в книге.

Он посмотрел на меня так, будто я сказала что-то очень смешное и очень грустное одновременно.

— Госпожа, аптечных остатков на муку не хватит.

— Хватит на два дня. Потом совет подпишет.

— А если не подпишет?

— Тогда я приду к вам снова и попрошу ещё раз.

Он помолчал. Потом кивнул.

— Идите работайте, — сказал он. — Пекарь подождёт.

Я пошла обратно, и на повороте, у окна, через которое всегда дуло, остановилась. Правое плечо ныло. Я подняла руку, потянулась — боль не ушла, а только сжалась в точку, ровно там, где у него вчера дёрнулась скула. Я опустила руку. Дом, видно, решил, что нам теперь всё делить пополам. Я не спорила. Спорить с камнем — последнее дело.

В лечебнице меня ждал поварёнок. Тот самый, с ожогом. Он сидел на табурете, вытянув руку, и смотрел на свою перевязку так, будто она ему не принадлежала.

— Доброе утро, — сказала я.

— Доброе, — сказал он.

Я размочила повязку, посмотрела. Кожа под ней порозовела, но не сошла, и я была этому рада. Я смазала край простым гусиным жиром, положила свежий лист подорожника, перевязала. Руки у меня были тёплые, и поварёнок впервые за два дня посмотрел мне в глаза, а не на мои руки.

— Болит? — спросила я.

— Нет, — сказал он.

— Врёшь, — сказала я. — Ещё чуть-чуть поболит. Это хорошо.

Он кивнул. Я отпустила его и пошла к окну.

За окном по двору шла Инара Айрвен. Она шла медленно, веер был закрыт, и шла она не к конюшне и не к гостевому крылу. Она шла к чёрной лестнице. К той самой, где вчера Элиса сказала Рейнару: «Пусть совет назовёт моё имя при всех, или я уйду». Я знала, что она идёт туда не случайно. Я знала, что ей нужно посмотреть, где именно я стояла, где именно камень был тёплый, а где — нет. Я отошла от окна.

Седа в углу складывала мяту в пучки, и у неё от усердия тряслись плечи.

— Седа, — сказала я. — После обеда придёт женщина с осеннего приёма. Та, у которой мать была из этого рода. Она принесёт нам бумаги. Ты встретишь её у чёрной лестницы и проводишь сюда. Не через двор. Через лечебницу.

— Через лечебницу? — переспросила Седа.

— Да, — сказала я. — Пусть идёт мимо котла. Пусть услышит, как он кипит.

Седа посмотрела на меня, и у неё на миг стало то самое лицо, какое бывает у людей, когда они понимают, что их взяли в чужую работу, и что отказаться уже нельзя, и что они не хотят отказываться.

— Хорошо, — сказала она.

Я кивнула. В котле закипело. Я сняла крышку, подставила лицо под пар, и пар был чистый, и пах мятой и дымом, и я знала, что к обеду запах дойдёт до зала, и что кто-нибудь из гостей спросит, кто варит мяту в лечебнице, и что ему ответят, и что ответ запомнят. Я не стала ничего записывать. Я просто стояла, и плечо у меня ныло, и котёл у меня кипел, и я ждала обеда.

Он пришёл после полудня, когда в лечебнице пахло мятой и дымом, и Седа вышла за водой, и мы остались вдвоём. Он не постучал. Он вошёл так, как входил в свои покои, — плечом вперёд, и на миг мне показалось, что я снова стою в его кабинете, и что я снова чужая, и что я снова должна уйти.

Но он остановился у порога. Он не подошёл к столу. Он стоял и смотрел на котёл, на пар, на мои руки, и я видела, как он ищет слова, и как они у него не выходят, и как он злится на себя за то, что они не выходят.

— Я не за этим, — сказал он наконец.

— А за чем? — спросила я, не оборачиваясь. Я сняла крышку, и пар пошёл мне в лицо, и я моргнула, и слеза была не от пара, и я знала, что он видит, и что он не подаст вида.

— За счетами, — сказал он. — Казначей принёс новые расходы. На лечебницу. На тебя. На то, что ты здесь варишь, и что ты здесь режешь, и что ты здесь перевязываешь. Он хочет, чтобы я подписал допуск к кладовым. Без подписи он не откроет ни одного ящика с травами. И он прав, Элиса. Без подписи ты здесь никто. Ты сама это знаешь.

Я поставила крышку. Повернулась. Он стоял у двери, и в руках у него была папка, и пальцы у него были в чернилах, и я знала, что он подписывал не только мои счета, и что чернила эти были ещё мокрые, и что он не стал их вытирать, и что это было не случайно, и что он знал, что я замечу.

— Положи на стол, — сказала я.

Он подошёл. Он положил папку на стол, но не сразу убрал руку, и я видела, как его пальцы легли на край стола, и как они задержались, и как он смотрел на мои руки, и как он не смотрел мне в глаза.

— Там расходы за два месяца, — сказал он. — Там отдельно по травмам. Там отдельно по мазям. Там отдельно по тому, что ты варишь для слуг, и чего никто не просил. Казначей хочет знать, на что уходит серебро. Я хочу знать то же самое.

— А ты сам? — спросила я. — Ты сам хочешь знать?

Он поднял глаза. Он смотрел на меня так, как смотрел тогда, в кабинете, когда я впервые сказала ему, что не поеду с ним к алтарю, и что я останусь в кухне, и что я не уйду, и что я не снимаю обувь, пока мне не скажут: «Элиса, оставайся». Он смотрел так, будто я его ударила, и он не может ответить, и он не знает, куда деть руки.

— Я хочу знать, — сказал он тихо, — на что уходит серебро. И я хочу знать, кто его тратит. И я хочу знать, на кого я подписываю.

— Тогда подписывай, — сказала я. — Не на меня. На лечебницу. На имя, которое здесь стоит. На то имя, которое дом помнит. Ты ведь знаешь это имя, Рейнар. Ты его сам когда-то выводил пером.

Он опустил глаза. Он смотрел на папку, и чернила на его пальцах блестели, и я видела, как его большой палец медленно провёл по краю листа, и как он оставил на нём тонкий чёрный след, и как он это заметил, и как он не стал вытирать.

— Я подпишу, — сказал он. — Но я хочу, чтобы ты знала, что я подписываю не как лорд. Я подписываю как должник.

Я не ответила. Я взяла перо из чернильницы, и перо было сухое, и я макнула его, и чернила пошли, и капля упала на лист, и я не стала её вытирать, и я подвинула перо к нему, и наши пальцы встретились на ручке, и его пальцы были холодные, и мои были тёплые, и я знала, что он это почувствовал, и что он не отдернет руку, и что он не подаст вида.

Он взял перо. Он подписал. Подпись была неровная, и чернила расплылись слева, и он не стал переписывать, и он положил перо обратно, и палец его задел мою руку, и я не отдернула, и он не подал вида, и камин за его спиной тихо треснул, ровно одно дыхание, и больше ничего.

— Я принесу тебе ключи, — сказал он. — От кладовых. Завтра.

— Принеси, — сказала я.

Он кивнул. Он повернулся, и пошёл к двери, и у порога остановился, и я видела, как его плечо напряглось, и как он не обернулся, и как он сказал, не глядя:

— У тебя в правом плече болит?

Я не ответила сразу. Я смотрела на его спину, и на его плечо, и на его руку, которая висела вдоль тела, и я знала, что у него в правом плече тоже болит, и что он знает, что я знаю, и что он спросил не для того, чтобы услышать ответ, а для того, чтобы я знала, что он спросил.

— Болит, — сказала я.

Он кивнул. Он вышел. Дверь осталась открытой, и в проёме было видно, как по коридору идёт Седа с ведром, и как она замедляет шаг у нашей двери, и как она отводит глаза, и как она проходит мимо, и как ведро у неё чуть качнулось, и как она его выровняла.

Я подошла к столу. Я посмотрела на его подпись. Чернила ещё не высохли. Я провела пальцем по её краю, и палец окрасился в чёрный, и я знала, что завтра на этом пальце будет такой же след, как у него сегодня, и что завтра я увижу его в зале, и что он увидит мой палец, и что мы оба сделаем вид, что ничего не произошло, и что котёл у меня будет кипеть, и что камин будет трещать, и что камень под ногами будет тёплый, и что плечо у меня будет ныть, и что я впервые за две недели не захочу отсюда бежать.

Я закрыла дверь. Не сразу — сначала подержала ладонь на ручке, почувствовала, как холодный металл медленно теплеет под пальцами, и только тогда надавила бедром. Замок щёлкнул тихо, как будто извинился. Я осталась стоять, прижавшись спиной к доскам, и слу-

шала, как за стеной затихают его шаги — два вперёд, один назад, как у человека, который привык ходить по длинным залам и не умеет иначе. Потом шаги стихли. Потом где-то внизу скрипнула дверь чёрной лестницы. Потом стало тихо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.